

1 февраля 2020

Недооценка человека в грехе и в святости, в падении, добровольно – по своей глупой воле или как-то иначе. И в святости – сверх добровольно. Ведь такая возможность быть святым связана с тем, что нельзя мерить человека только одной меркой индивидуальности и даже личности. Нужно ещё другая мера – ипостась. Всё это присуще человеческой природе. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» это проходит испытание. Великий Инквизитор вспоминает евангельский эпизод об искушении Христа в пустыне. Но в его монологе, обращенном к пленному Христу, речь идёт даже не об искушении, а об утверждении неизменной, животной природы людей. И даже не столько животной, сколько утверждение о слабости человека. Инквизитор говорит о том, что Христос переоценил человека. А люди – бунтовщики, но слабосильные, и жаждут преклонения, причём всеобщего, чтобы оправдать свою слабость и выдать её за истинную природу в своих же собственных глазах. Для этого нужно, чтобы все проявляли слабость и жажду преклонения. Так что речь идет об искушении человека. Христа искушить уже невозможно, после того как он победил Противоречащего, победил сатану. Вот в том диалоге, который мы читаем в Евангелии. Три вопроса, в которых он собрал, по мнению Инквизитора, всю страшную сущность, всю разгадку человеческой природы, ответив на эти вопросы о том, что не хлебом единым жив человек; о том, что не надо искушать Бога; и о том, что поклониться можно только ему, только Богу. Этими ответами он, как говорит Инквизитор, победил Христа, но потерпел поражение. Он, Христос, победил сатану. Но потерпел поражение потому, что здесь была переоценка человека. Сатана был во многом прав – от имени слабости человеческой искушая Христа. Но это один центр, новозаветный центр романа «Братья Карамазовы».

Второй – это искушение Ивана Карамазова чёртом. И там тоже речь идёт о ложном, как чувствует сам греховный Иван, утверждении человеческой слабости. Речь идет не только о греховности человеческой природы. Человек греховен, потому что слаб. И там чёрт проговаривается о том, что если бы люди проявили силу, победили бы свою слабость, они могли бы это сделать – возлюбить, каждый мог бы возлюбить ближнего безо всякой мзды, без надежды на загробную награду. Если бы человек соединил в душе своей, на протяжении краткой и обречённой на небытие жизни, эту

способность к бескорыстной любви, если бы все проявили такую способность, то тогда всё бы устроилось. Но этого долго не будет; этого, возможно, никогда не будет. И вот почему знающий об этом человек может уже сейчас, один, устроиться на новых началах. И вот отсюда – всё дозволено и шабаш. «Зачем, впрочем, – продолжает проговариваться чёрт, – санкции истины для этого мошеннического обращения человека, человека в самого себя. Но так уж устроен наш человечек, что без санкции и смошенничать не может, до того истину возлюбил. Нужна санкция истины». Тут получается, что черт отражает не только низменное и пошлое, что живет в душе Ивана, но и то высокое, предельно высокое, ипостасно высокое, о чём проговорился чёрт. Впрочем, тут же и поплевав на свою неосторожность, на эту веру в возможность преодоления человеком слабости своей.

Две эти главы – «Великий Инквизитор» и «Чёрт» взаимно дополняют друг друга. И в той, и в другой Достоевский – с Христом. Он верен своей надежде на человека, верен своему ясновидению духа в человеке. Толстой – ясновидец плоти, как определил Мережковский, а Достоевский – ясновидец духа. И он просматривает эту ипостасную высоту человеческого духа, не называя её этим словом и видимо, не осознавая этого понятия, он видит во всех персонажах, которые оказываются в центре полифонического романа, во всех подлинно достоевских героях, во всех главных героях Достоевского. Тем он, Достоевский, и свят, и страшен. Вот почему, как теперь совершенно ясно, понятие об ипостасности человеческой природы, наряду с личностным и индивидуальным проявлением этой природы, вот это незнание, это неверие в так понятую триединую природу человека есть главное заблуждение позитивизма, материализма. Не только в общих размышлениях и философствованиях, но и в практике революции, и страшного и потрясающего своей святостью эксперимента с нашей советской историей.

Здесь нужен Достоевский, чтобы по-настоящему оценить этот эксперимент. Это трудно даже назвать экспериментом. Это была попытка поверить в человека как раз. Потому что идея коммунизма вся стоит на этой вере. На том, что когда-то люди будут в состоянии добровольно и безвозмездно, без всяких надежд на загробное воздаяние, полюбить друг друга. И уже в той истории, которую открывает революционная Россия, были такие примеры. Были целые поколения, которые ради этой своей способности готовы были приносить жертвы, приносили в жертву и себя и

других, приносили в жертву всё, что противоречило этой вере. А потом, когда опыт этот был предан и осужден за те преступления, которые были совершены в советский период, мы опять откатились от этого высокого представления об ипостасности человеческой природы. Мы опять скатились к сугубо индивидуалистическому пониманию ее, к животному, к индивидуализму, к лживо понятой личности, к отрицанию возможности победы святого в человеке. И к религиозному, догматическому утверждению возможности такой победы человека над собой – но сугубо религиозной, традиционной, патриархально-традиционной, экономической. Так ошибочно во многом понятого православия.

Ни то, ни другое не даёт верного чувства человеческой природы. Ее вновь открытие ещё предстоит. И тогда утверждение искушающего из «Великого инквизитора», повторяющее марксистскую концепцию борьбы классов о том, что существуют лишь голодные; их нужно сначала накормить, а потом требовать от них, чтобы они были людьми и проявляли бы не только изменчивость индивидуального права на выживание, но и личностную высоту, не гарантирующую от заблуждения и преступности своеволия. Вот мы опустились и пали до этого. По сути дела, мы обрекли себя на вновь возрождение так понятого марксизма. Ибо изначально это представление о человеческой природе ложно. В самых страшных испытаниях человека, когда выживание становится почти недостижимой целью, человек способен думать не только о том, чтобы быть сытым и одетым, прежде чем стать человеком. Он изначально проявляет человеческое и святое, потому что он не только индивидуальность и личность, но и ипостась.

Вот это представление о человеческой природе нужно внести в актив нашего духовного опыта. Его, это представление, сделать основой культуры духа. И вообще, всей силой возможности человеческого духовного самосознания. И на этом строить свое отношение к прошлому, истории: так называемой истории борьбы классов, нашей сегодняшней современности, нашего падения, которое неминуемо приведёт к вновь рожденному, заново рождённому марксизму. И изначально будет утверждать триединую правду человеческой природы. Тогда и прошлое, и настоящее, в котором мы совершаем этот грех, не будет закрывать для нас возможность предвидеть, чувствовать и творить. Осознанно творить будущее. То, что можно будет назвать в филогенезе зрелостью. Эпохой зрелости человека. Совершенно

ясно, что именно такая задача могла бы удовлетворить человеческое существование. Только здесь мы могли бы преодолеть грех недооценки человека и осознать саму греховность человеческой природы как проявление этой недооценки. Это чрезвычайно важно. Дело не в том, что человек может по своей воле быть злым, добрым. Может сам сделать этот выбор, может избрать проявление зла в своей природе. Именно потому, что это вот свободное проявление. Речь идёт о понятии греха, которое воплощено в «Божественной комедии», в первой части поэмы, где ад населяют души выдающихся грешников, которые предпочитают свой грех и страдания за это грех вынужденной подчинённости Господу: «Когда бы нам был другом царь Вселенной, мы бы молились, чтоб тебя он спас, сочувственного в муке сокровенной». Эта сокровенная мука дороже Франческе и Паоло, чем спасение. Тот вихрь, который носит их во втором круге ада, предпочтительнее для них радостей духовного спасения, райская гармония подчинённости Господу. Они допускают, что царь вселенной не друг, а враг их любви. Дело не в том, что человек может во имя свободы поставить себя по ту сторону добра и зла. И что такими могут стать все, и это будет конец человеческого бытия.

Дело не в этом, а дело в том, что такое понимание греха есть недооценка человеческой природы, неосознание ипостасного начала в человеке, незнание о том, что такое начало есть. Или, может быть, отрицание его? Вот это отрицание и есть грех. Радостно осознавать, что грех есть не просто заблуждение, но недооценка человеческой природы. Радостно осознавать правду ипостасного начала, которое вбирает в себя и индивидуальное, и личностное, но возводит его в контекст ипостасности. И тем самым, ничего не утратив в этой жажде свободы, свободного проявления, спасает человека. Такое будущее, когда людям откроется эта правда, когда они в неё поверят, но одновременно и проверят это – и доводами разума, и экспериментом науки, и социальным экспериментом; когда они создадут искусство, передающее эту правду, – тогда и состоится будущее. О котором сейчас забыли, которое подменяют каноническим верованием в загробную жизнь. Забыв, что там, наверно, нет загробной жизни, а есть ипостасное вновь рождение. И именно оно – надежда и человека, и Бога, который живёт в человеке, и природы, тайна которой до сих пор ещё не до конца осознана и не вполне открыта.

**2 февраля 2020**

Мне приснилось то, что так редко бывает наяву. Да вернее, чего никогда наяву не бывает. Удалось что-то записать на белом листе бумаги. Получалось всё само. Будто некий голос подсказывал нужные слова. И помимо моей воли, и помимо даже способности что-то точно сказать, помимо всего этого, всей природы моей, что-то переходило в текст, который я писал. А было это в отдельной палате – то ли в больнице, то ли в доме отдыха, то ли в какой-то гостинице. Но в той комнате, где я писал, жили ещё люди. Эти люди – ребята. Я был старше их во сне, но не настолько, насколько старше наяву. Старше, но ещё были те молодые силы, которые долго-долго не уходили из меня. И я тревожился немножко о том, что они могут уйти. И поэтому спешил записать. Тем более, удавалось. Я чувствовал, помимо моей воли получалось то, о чём я мечтал. Ребята ушли из комнаты, но только что были в ней. И передо мной лежала бумага на столике, бумага моя. Но помнится, так получилось, что я взял один листок, который не был моим. Его положил один из мальчиков мне на стол. Там был рисунок, я не очень понимал, что нарисовано. Но было что-то очень красивое и значительное, некий полуабстрактный символ. А может быть, просто детское неумение рисовать сотворило такой рисунок. Смутно я вспоминал, что случайно взял этот листок, вложил его в мою стопку белых и чистых листов. И вот когда очень хорошо и точно выразалось на этом моём белом листочке всё, что я хотел сказать, в комнату вошли ребята. И один из них – тот, кому принадлежал взятый мной листок, а я уже забыл, что я его взял случайно. Сели на свои кровати, а тот, кому листок принадлежал, внимательно рассматривал меня. Как будто он хотел по моему лицу и по тому, как я пишу, понять, что именно я пытаюсь написать. Он смотрел на меня неотрывно, внимательно, долго. И, наконец, я прервал своё занятие, не довершив написанное. И тоже поднял свои глаза, и наши взгляды встретились. И тут он мне говорит, он, этот мальчик, говорит: «Если можно, дайте мне тот листочек, на котором вы пишете. Да, конечно, это вы его взяли. Переверните». Я переворачиваю листочек и вижу этот удивительный, но непонятный для меня какой-то чрезмерно простой детский рисунок. И я понимаю, что я случайно, на этом взятом мною листочке, написал что-то, может быть, самое важное. Но написал своим почерком. А я пишу иногда

так, что сам не могу прочитать спустя какое-то время. Писалось хорошо, я знал, что всё выражено – из того, что я хотел. Я был спокоен, что когда-нибудь я этот листочек прочту.

И тут я понимаю, что нужно его отдать вместе с тем, что написано. Я ещё раз всматриваюсь в рисунок, пытаюсь его понять, не могу понять. И невольно отдаю написанное. Но тут же прошу: «на минутку верни мне, я должен переписать то, что случайно на этом листке оказалось». Мальчик мне дает, внимательно и понимающе глядя мне в глаза, даёт с улыбкой, ожидая, что я верну ему. Я начинаю переписывать и чувствую, что не понимаю свой текст. Не пришло время его понять. Тогда я начинаю проговаривать вслух, припоминая написанное. Проговариваю и чувствую, что мне очень трудно это сделать. И, главное, мальчик не слышит то, что я говорю. Нет, он слышит, но он не может понять и знает, что я тоже не очень понимаю. И просто ждёт и не торопит меня. И тут я чувствую, что мне трудно говорить вслух. Потому что я действительно говорю вслух. Говорю вслух уже не в здешнем мире, не в мире сна, а наяву. И там я пытаюсь не слушающими меня губами произнести нужные слова. И мне кажется, что если я громче это скажу, будет яснее и будет точнее. А на самом деле я знаю, что чем громче, тем дальше от того смысла, который я выразил, отходят мои слова. Мальчик с улыбкой понимания ждёт, когда я верну ему страницу. Я возвращаю и знаю, что, может быть, именно он когда-нибудь разберет мой непонятный почерк и прочтет ту формулу перехода из одной ипостаси в другую, которая так удачно, как мне снилось это, я набросал своим непонятным почерком на обороте его рисунка. Когда-нибудь он прочтет. Когда-нибудь кто-нибудь прочтет. А всего вернее, это никогда не будет прочтено, если я сам сейчас не смог это перечитать и переписать на белую страницу. И вот я с каким-то особым, грустным и радостным чувством продолжаю громко и отчётливо что-то говорить. И уже не вижу ни этой палаты, ни мальчика, ни страницу, ни свой особенный текст. Тут я вспоминаю, что я уже не могу писать, как прежде, и не могу прочесть написанное и даже напечатанное так просто. Нужно вчитываться, всматриваться, нужно наставлять свою лупу, которая помогает мне читать. И с которой так трудно порою разобрать нужное слово.

Явь возвращается. Слова, которые я произношу, имеют некий смысл. Я принёс их из моего сна. Но смысл этот, даже произнесенный словесно, ясным и громким голосом, уже непонятно мне. И всё-таки я знаю, что где-то

кто-то каким-то чудом найдёт эту отданную мною страницу и прочтет мой текст. И тогда будет понятно, почему он вдруг оказался на обороте рисунка, и почему этот рисунок и текст так неразрывно друг от друга остаются во сне. Помню только, что я хотел, перед тем, как проснуться, зачеркнуть этот мой текст, чтобы никто не стал его читать. Но мальчик остановил меня взглядом. Если бы я это сделал, я, может быть, испортил бы его рисунок на обороте. Черта, которою я отменял написанное, обозначилась бы в просвете. И рисунок был бы испорчен. А текст почему-то никак не отражался на обороте, никак не проникал сквозь бумагу, оставался на этой стороне листа. И я таким и оставил его в этом моём утреннем сне. Очень трудно передать то чувство, которое я переживаю до сих пор, вспоминая этот сон и даже зная, что, произнося мои слова о нём, пытаюсь о нём рассказать, я ещё что-то удерживаю из того, что было понятно тогда. И понятно было не только мне, но и ему, тому, кто ждал, когда я верну исписанную на обороте страницу.

### **3 февраля 2020**

Человек ипостасен эпохе: прошлой, целого ряда прошлых, ушедших эпох; настоящей, совершившейся или совершающейся; будущей, и не одной. Это очень непростое понятие – ипостасность времени. Здесь ключ к тому, чтобы верно истолковывать историческую память, современную идентичность и чувство будущего – способность его утверждать как идею, как предощущение. Бороться за неё и даже умирать за эту будущую, ипостасную человеку эпоху. Вообще вот этот круг измерений человеческого сознания по-настоящему станет ясен, если применить принцип ипостасности человека времени, применить к истории. А если речь идёт о будущем, то к религиозному, философскому, научному предвидению. И опережающая время фантазия художника. Здесь так же, как и в других случаях, действует закономерность ипостасных соотношений: тождество, разграничение, даже противостояние, и взаимопереходность. И каждый раз это по-новому и специфично для любого из этих случаев, для любого из этих типов ипостасных соотношений. Многое из того, что сказано по этой теме «человек и история», получит при таком подходе новое, другое истолкование. Многое из того, что не попадало в фокус внимания, станет ясным и богато, многообразно раскроется совершенно по-новому. При этом подтвердится

или будет опровергнуто многое из тех положений, тех, уже ставших стереотипными, сюжетов истории и личности, соотнесенной с тем, что Ипполит Тэн называл моментом.

У него у самого в его триаде, включающей в себя момент, триаде – раса, среда, момент, этот принцип не был применён. Его мысль искала соответствие, прямое, генетическое объяснение, когда расовое проявление человека объясняло логически, сопоставительно многое в сознании личности. Ну, разумеется, человек и среда. А момент представлял собою историзм всех этих сопоставлений. Но чисто генетическое соотношение, и это далеко не всё, это лишь начальная стадия такой сопоставительной работы, когда раса, среда, момент определяют что-то в человеке. Действует закон тождества, проявляющийся генетически: одно порождает другое; но это другое – то же самое одно. То, что порождает, родит тождественное самому себе, в той или иной мере. Ну, разумеется, упрощать ничего не надо. Всё сводить только к одному тождеству такой ум, как ум позитивиста Ипполита Тэна, было бы невозможно. Хотя натурализм, проповедником и пророком которого был Тэн, в основном, сводил к отождествлению человека и те внешние силы, которые воздействуют на него. Нужно было увидеть генетическую связь и тем самым многое объяснить. Но в большей степени, более сложном качестве ипостасное сопоставление было бы возможно, если бы отождествление сопровождалось тут же раскрытием конфликта: человека и расы, человека и среды, человека и исторического момента. Но если сложить эти выведенные Тэном начала и при этом момент сделать определяющим, включающим в себя прошлое, настоящее и будущее, то тогда и получится эпоха, с которой нужно соотнести человека, личность его, сознание. И здесь опять же нужно различать собственно индивидуальное проявление, личностные, ведущие к более сложным конфликтно сюжетным порою соотношениям и собственно ипостасные, взаимопереходные. Такая работа не проделана.

Историку литературы многое здесь предстоит. И это будет новая или обновлённая, или ипостасно вновь рождённая система. Когда человек с его судьбой, яркая личность, опередившая время, несущая на себе его печать, перешагнувшая границы момента, когда она явится в том особом, собственно человеческом проявлении и богатстве, что проявится в деятельности, выделившей эту личность. Деятельности и исторического



лица, и в культурной, и духовно-культурной сфере. Здесь и религиозное вероучение, здесь и философский научный подвиг человека. И наиболее сложное, как раз в ипостасном смысле, проявление художественного взаимопроникновения человека и времени, человека и эпохи. В какой-то мере звуковым лицом, по определению Пастернака, оказывается и индивидуальность, и личность, и, как мы сказали бы, ипостась.

Но всё-таки именно триединство этих проявлений ипостасности вполне позволяет почувствовать всю сложность и богатство соотношений человека и времени. И вот я очень жалею, что такой подход осознаётся сейчас, поздно для меня. Был бы я дальше от той границы, которая приближается ко мне, границы моего ипостасного бытия, вот в этом, именно в этом, нынешнем моём ипостасном измерении, была бы эта грань от меня дальше, я бы принялся за работу как историк литературы. Ну вот оказывается, что собственно литературная сфера этих соотношений может быть рассмотрена и религиозно, и философски, и образно художественно. И это я могу сейчас для себя наметить лишь вчерне. Но я вижу живые очертания такой истории и даже слышу тот особый язык, на котором можно было бы всё это рассказать. Даже он, этот язык, повел бы меня в глубину таких погружений. А сейчас, если бы была возможность объять необъятное, измерить океан особой меркою, я бы в своих попытках художественного осознания и воплощения решился бы сделать такое. Ну что же. Насколько возможно, попробую. И да поможет мне моя ипостасная опора в преодолении тех ограничений, которые так или иначе ипостась ставит и которые она приглашает преодолеть. Ибо сама снимает их, сама освобождает сознание от этих его ограничений. И вот я чувствую, что не только наяву, но и во сне, если в какой-то особой фантастической форме проявятся эта мысль и это погружение (а такое бывает во сне), что это всё нужно попытаться облечь в словесную, точную текстовую форму осуществления. Во всяком случае, я не чувствую, что здесь я безнадежно опоздал. Наоборот, кажется, к концу одного из ипостасных существований, осуществлений сознания, именно к концу многое становится возможным из того, что раньше виделось как вовсе недостижимое. Проверим.

4 февраля 2020

Полемика в сфере духовной культуры. Оказывается, я был озабочен этим очень давно. И все мои попытки преподавания литературы в школе, ну и потом много приходилось читать лекций учителям, писать учебник, редактировать его и так далее. Всё это было так или иначе связано с этой проблемой: полемика в сфере духовной культуры. Духовная культура, предполагающая, как уже многократно приходилось говорить, паритет религии, науки, искусства и других многочисленных, если не сказать бесчисленных форм, духовной культуры. Но эти три – самые важные, самые предельно чёткие и основополагающие разграничения основных типов той системы духовной культуры, которая составляет единое целое. Так вот, паритет этих начал в едином целом духовной культуры не только не предполагает отсутствие полемики, – наоборот, делает её до предела напряженной.

И вот когда в школе я, сам того не зная, пытался именно пригласить духовную культуру и поиск духовной культуры в опыт школы и школьного урока литературы, я как раз именно этим и занимался. Когда в хорошей школе я пытался говорить сам, вот я держал «Войну и мир» Льва Толстого в руках, и у меня было много больше, чем положено, уроков по роману; и всё говорил я один; и такой был прямо особый способ жизни с этим романом. И хорошие умные ребята математической 30 школы это всё принимали; и вроде бы, все это имело успех, они знали текст очень хорошо, хотя я их, вроде бы, не проверял на знание текста. Я сам с собою где-то спорил. Но всё-таки то, что говорил я сам, было явно недостаточно. Я вдруг почувствовал, что я дальше так не могу. Да и ученики мои. Я говорил уже теперь на фоне общего разговора в классе, и казалось, что это нарушение дисциплины, что это означает утрату интереса к тому, что они слышат. Я старался ещё и ещё, и ещё более неожиданно углубляться в текст, быть интересным. И чувствовал, что между мной и школьниками не то что разрыв, а вот какая-то это невидимая стена, пелена. Но прозрачная. Они сквозь эту пелену видят меня, они меня слышат, но при этом они разговаривают сами с собой, и не всегда по теме урока, разумеется. Но всё-таки тема урока их побуждала к такому разговору. И потом, я не всегда знал, о чём они говорят. Мне важно было, чтобы была тишина в классе, а ее не было. И при этом они великолепно

помнили все то, что я говорил. И потом, когда я делал зачёт, где (подробнейшим образом по роману «Война и мир») целый день учебный освобождали от уроков всех ребят, и они сдавали зачет по «Войне и миру» Толстого, я выяснил, что они всё-все знают, все помнят. Но чего-то не договаривают, отвечая мне или просто размышляя о романе. Там не было таких ответов, не было такой проверки. Там была некая встреча читателей романа. Они знали, мои ученики, что мне нужно повторить то, что они слышали. Но не это было их мыслями, главным, что они хотели мне сказать. Они явно не договаривали.

И вот когда я это почувствовал, я понял, что дальше я так не могу. И вот был найден особый способ – форма полифонического урока. Когда таким говорящим мог оказаться каждый из школьников. И с этого урок начинался. Школьник попадал в положение учителя и некоторое время мог вести урок и даже пользоваться всеми прерогативами учителя, вызывать с места других, даже ставить оценки. А я при этом становился учеником. Я садился на его место, и он мог вызвать меня и разговаривать со мной на равных. Это не просто была какая-то выдумка, это была потребность. Она высвободила то, что они не договаривали и чему я мешал своими замечательными монологами, которые они почти наизусть знали при этом в итоге, послушав их. Но им было сложно слушать, запоминать это так или иначе, хотя это происходило невольно, и при этом говорить друг с другом и недоговаривать друг другу, потому что я мешал им своими монологами. И вот когда полифонический урок вошёл в силу (я даже о таких уроках рассказывал учителям в институте усовершенствования учителей, рассказывал об отдельных уроках. Это тоже имело успех, и чувствовалось, что некоторые учителя что-то хотят мне сказать. Что-то такое, что им позволяет лучше, чем мне, оценивать этот опыт, тот опыт, о котором я рассказывал), вот когда вошел в силу этот урок, и он стал, так сказать, формой, уже известной, стало ясно, что полемика здесь, причём, полемика до предела острая, углублённая, неизбежна.

Причем, её особенностью было то, что она, эта полемика, не вела к расхождению, к недобрым чувствам друг к другу со стороны полемизирующих. Как будто они разговаривали сами с собою и друг с другом, как будто сами с собой. Они могли предельно экспрессивно, доказательно, как это и требовалось, спорить. Но при этом они нуждались

друг в друге. И весь этот опыт внушал мне, что я сам должен нуждаться в таком разговоре, в таком ответном движении ко мне, что без этого я просто не могу. И вот это особое отношение друг к другу, предельно полемическое и, вместе с тем, не пробуждающее недобрых чувств, расхождений, досады. Всё это тоже было, но это быстро преодолевалось. Потому что все чувствовали, здесь дело в чем-то другом. Не в том, чтобы отстаивать свою точку зрения, хотя её нужно было отстаивать, а в том, что это многоголосье, этот полифонизм был условием того погружения, без которого невозможно было постигать не только Льва Толстого, любой настоящий художественный текст.

Ну а потом, уже значительно позднее, когда я стал обдумывать и теоретически проблемы духовной культуры, предполагающие паритеты, собеседование религии, науки, искусства, я перенес это в сферу такого внутри культурного диалога и понял, что ипостасность вот этого разговора есть отражение ипостасности в духовной культуре, внутри. Ипостасности в споре, в диалоге, в расхождении и в согласии этих трех начал и основ: религии, науки, искусства. Иногда мне сейчас возражают и говорят о том, что религия и наука сходятся или должны сойтись. И в итоге должны сойтись. Они никогда не сойдутся, хотя будут стремиться к тому, чтобы сойтись. Каждое из этих начал имеет своё особое право на существование в духовной культуре. О сведении к тождеству, на какой бы основе это ни было: на основе религиозной – тогда догматизм вообще прекратит всякий поиск и всякий диалог; на научной основе – но наука не дает окончательного знания по многим, основным, тем, которыми ведает религия, вопросам, особенностям; или на почве искусства – тогда эстетическое самоутверждение станет главным, и вот возникнут различные формы эстетизма, в котором потеряно главное, что одухотворяет искусство. Ибо искусство есть не просто игра форм и приёмов и не просто иллюстрация к готовым научным или религиозным истинам, а есть испытание и тех и других опытом жизни.

Так вот, это разграничение в сфере духовной культуры не прекратится никогда. А если оно прекратится, будет сведено к тождеству или только к непрекаемому разграничению и противостоянию различных точек зрения и версий, истина всё равно будет ускользать. Исчезнет ипостасность духовной культуры, внутренняя ипостасность; та, которая на хороших уроках была у меня в опыте. Не только у меня, на любом настоящем уроке, если

только там не была попытка учителя протащить свою схему или свою версию и только озвучить ее голосами школьников, учеников. Когда был действительно полифонический диалог, который свидетельствовал о том, что это урок живой, и он будет иметь продолжение, он не кончится. Вот, оказывается, я всю жизнь этим занимался. И если так подходить, тогда станет понятным, что, скажем, догматика, которая является неременной формой религиозной конфессиональной культуры, должна будет как-то исчезнуть. Нет, она не исчезнет, даже если она будет оспорена наукой. А наука всё время оспаривает религию. Она ведь по-своему, на путях точного, проэкспериментированного, проверенного знания, пытается оспорить религиозную веру. И она права в своем стремлении. Но права ипостасно. В момент своего поиска, своего утверждения, момент полемики она может отрицать догматику. Но ипостасно догматика существует, как некий паритет, рядом с научным поиском. И наука должна знать свою слабость, свою неполноту своего знания во многих вопросах. Есть вопросы, которые наука решает окончательно. И, кстати, вопреки религиозной догме. И то и другое имеет право на жизнь. И то и другое, в том числе, имея право на жизнь, проверяется искусством, где опытом жизни человеческой испытывает все остальные формы сознания. И сознательное, и бессознательное, и предсознательное, и постсознательное – все проявления сознания. Искусство испытывает всю остальную духовную культуру опытом жизни. И за этим требуется искусство, приемы и то, что выше и больше, чем приемы и искусство. То, что безыскусственно сильно и властительно в том, что называется искусством. Короче, все эти три начала ипостасны. И это чувство, не только тогда, когда шли уроки, не только тогда, когда была попытка решить, казалось бы, неразрешимый вопрос, но и в тех случаях, когда, скажем, ну к примеру, я повествовал о том или ином уроке, передавал тот или иной опыт, это было лучшим и в методике, когда я передавал опыт. Здесь методика становилась искусством. Это принималось и благодарно принималось. И я сам чувствовал, что люди этого ждут. И не было бы таких слушателей, я и сам бы не мыслил в момент рассказа, я и сам бы не искал, я и сам бы не жил, а только информировал о том, что уже добыто.

Вот, сказанное сейчас вот мне самому самым собою, самым мною, очень важно в решении сложнейшего вопроса о том, как быть с религиозной догматикой, конфессиональной, но не только конфессиональной в условиях,

когда наука делает такие открытия и приходит в противоречие с этой догматикой. И как быть с искусством, которое интуитивно опережает и науку, и религиозную догматику. Опережает, но, вместе с тем, продолжает чувствовать себя её ипостасью. Да и наука – ипостась и искусства, и религии. И так вот такое овладение принципом ипостасности позволяет решить, казалось бы, совершенно трудно разрешимый вопрос. Пустую очень часто, бесплодную, не рождающую ничего живого, полемику между наукой и религией, религией и искусством. Пусть полемика идёт. Но пусть она идёт так, как она шла в классе на уроках литературы. Это я говорю, конечно, сугубо условно, самому себе, чтобы себе объяснить мысль. Пусть так же идёт эта острейшая, но не приводящая к распаду и тупику, полемика. И вот когда я думаю так, а думаю так я не только сейчас, в эту минуту, много раз думал об этом, многократно в это погружался, так вот, когда я так думаю, мне жаль расставаться с моей ипостасью нынешней. Когда я таким образом погружаюсь в опыт духовной культуры, я невольно восклицаю: Как много сделано людьми! Как много понято! Как много прочувствовано! Как много живой правды объявлено, сказано и потеряно! – когда принцип ипостасности нарушен. Но если он будет осознан, если он будет принят как некое условие существования культуры, тогда сколько ещё можно сделать! Сколько ещё будет сделано! Не говорю о своих каких-то находках. Сколько будет сделано по сравнению с тем, что уже сотворено в духовной культуре. И мне жаль расставаться с моей ипостасью. Но я знаю, что другая моя ипостась и многочисленные мои иные ипостаси, которые пространственно рядом со мной живут сейчас, и те, которые во времени явятся, явятся после того, как я перейду положенную мне границу, – что всё это есть неизмеримое богатство, ради которого стоит жить и с которым так жаль расставаться.

### **5 февраля 2020**

В год 75-летия победы над фашистской Германией идёт такая полемика об этой победе, что ее уже помечают иным словом – война. Правда, война информационная, как говорят. Это всё штампы, словесные штампы, публицистические штампы, которые не мешают всем участникам полемики чувствовать, что информационная война не сегодня-завтра перейдёт в иные формы. Уже даже и не холодной войны, а самой что ни на

есть горячей. Польша, Украина – вот наши неонацистские враги. Так почти прямо, именно в этих словах, говорят нынешние полемисты. Я не думал, что доживу до такого времени. Такого рода война, полемика, еще только раскручивается. И она стремительно будет раскручена к дню Победы, да и после этого дня. Совершенно ясно очень многим полемистам, что наши попытки кому-то что-то доказать фактами, правдой этих фактов, почти бессмысленны. Потому что оппоненты наши без всякой заботы о правде могут утверждать и внедрять в информационное сознание любую самую откровенную ложь. Ну, так, как в гитлеровской Германии понимали пропаганду. С этого почти начинается книга Гитлера «Майн Камф». Там, где он подводит итоги и осознает уроки Первой мировой войны. Информация с фронта стоит над правдой или ложью. Она должна утверждать и оповещать лишь о том, что нужно сейчас в тактическом смысле, как нужно сейчас мобилизовать сознание участников войны. Мифология, прямая ложь, которая граничит с мифологией, тоже оружие в горячей войне. «Тогда, – пишет Гитлер, – этот простейший принцип был нарушен». Зато дальше фашистские лидеры, идеологи щедро оснащали пропаганду мифологией и прямой ложью, выражающей волю, волю к победе фашизма. И чем ближе было его поражение, тем откровеннее, отчаяннее и бескомпромисснее была эта ложь, уже даже без мифологии.

Так вот сейчас полемисты говорят о том, что надо действовать так же, как действует сегодняшняя фашизирующая сейчас Европа. Которая была под Гитлером в своё время, составляла с фашистской Германией некое единое целое. И неплохо бы сейчас это вспомнить. И вспоминают об этом и прямо декларируют неонацизм. Так вот нам нужно отказаться от наших попыток правды и побеждать ложь. А внести то, что нам нужно даже и в самую Конституцию. Она тоже инструмент, нужный в определённый момент политической истории и современного состояния нашей политики. То, что нам выгодно, то и нужно утверждать, не заботясь о правде. Хотя, вроде бы, пока полемисты ещё проявляют слабость, апеллируя к правде. Вот я не думал, что доживу до такого этапа нашей истории. И так получается, что все споры, дающие иногда со стороны полемистов-антифашистов в сегодняшнем смысле слова «фашизм», что вот эти полемические схватки, усилия порою ещё являют образцы политической полемики, оснащённой фактами (только факты, только правда), и оказываются бессильным аргументом в этой

информационной войне. Ещё немного, и мы откажемся от такой нашей слабости.

Но во всех этих полемических схватках ясно одно. И это совершенно определено. Мы продолжаем наследовать ложную традицию, вернее, традицию ложного истолкования и оценки советского периода. Совершенно ясно, и многими полемистами это уже высказывается прямо, что нужно каким-то образом соотнести коммунистическое учение, несшее в себе много правды и идею справедливости, и православие. Сейчас они антагонисты. И антагонизм этот ослабляет взаимно и ту, и другую сторону. Вместо того, чтобы сплотиться и противостоять неофашизму и нынешним врагам. Тем более, что на нашей стороне может оказаться Китай. А на той стороне неофашизма, конечно, Америка. Вместо того, чтобы сплотиться, мы спорим друг с другом и ослабляем взаимно друг друга. Ну вот, если свести к самому примитивному пересказу полемики. Сейчас она никак не может разрубить этот узел, преодолеть это хождение по кругу. И таким образом, очень много есть того, чем богат опыт, исторический опыт. Россия полностью обесценивается, полностью сводится к нулю. А советской этап был одной из кульминаций истории. И мировой истории. Весь негатив, весь громадный счёт, который можно предъявить советской государственности, а он, конечно, неизмеримо велик, не помогает вскрыть сущность этого исторического периода. Вскрыть его не уходящую в прошлое правду. И вот полемика невольно приводит к необходимости нового пересмотра истории и многих исторических фигур, переживших фигуру Сталина, о которой идет всё более и более обостряющийся спор. А тем не менее, народонаселение нынешней России голосует за Сталина. Уже по недавним опросам, как известно, 70% опрошенных положительно относятся к этой фигуре.

Как выйти из этого заколдованного круга, как его порвать? Как превратить этот ложный порочный круг в разомкнутую спираль, ведущую к прогрессу? Если таковой возможен, в этом многие сомневаются. Православие, во всяком случае, даёт альтернативу – загробный мир, посмертное существование, суд Божий. Так вот совершенно ясно, что пока коммунистическое учение, понятое как наследование лучших, самых прогрессивных, в разные времена и столетия, тенденций и традиций мировой культуры, и православие, как не умирающая правда нашего Средневековья, должны или призваны сейчас ипостасно соединиться.



Ипостасно соотноситься друг с другом. Уловив моменты тождества, осознав всю глубину противостояния и осуществив всю возможность взаимопереходности. Время до дня Победы ограничено. И вряд ли мы успеем что-то прояснить до этого дня. Да и весь нынешний год – две двадцатки – тоже недостаточен для того, чтобы была осознана потребность, необходимость и спасительная неизбежность ипостасного соотношения православия и коммунизма. Тем не менее, кто знает? Напряжение политическое, идеологическое стольросло, что идея духовной культуры, несущая в себе идею соотношения, ипостасного соединения религии, науки и искусства, востребована. Вот-вот и должна будет получить какую-то словесную осуществленность, какую-то формулировку. Уже говорят о внесении в Конституцию самого понятия Бога. Это опять неверная попытка навязать одно монистическое тоталитарное представление об этом ипостасном двуединстве другим, не менее тоталитарным.

И пока я не слышу ни одного, созвучного учению об ипостасности, суждения о том, как решить этот вопрос. А он безотлагательно требует решения, иначе будет чудовищно страшное и бесплодное, и безнадежно абсурдное повторение пройденного. То ли на уровне мифологического Средневековья, то ли на уровне догматического коммунизма, пришедшего к тупику. Мы чрезвычайно богаты, но мы сводим к нулю это богатство. До сих пор не осознавая принцип ипостасного единства, которое несёт в себе идею соединения неба и земли, которое ипостасно воспринимает природу и Бога и несет в себе благую весть и от Бога, и от природы. Пришвин учился у природы и проповедовал принцип такого учения. Вот нам бы так же, как устроена елка, выстроить нашу конституцию – «все лапки, все иголки, такие разные, отдают силу на образование ствола, а ствол поднимается к свету, к солнцу. И великое солнце любит все лапки, все иголки, но любит их всех равно и каждую больше. И вот почему ни одна иголка с другой не сложится. Вот бы и нам так устроиться, – завершает Пришвин свою запись, – но мы, когда думаем обо всех, забываем каждого. А когда вспомним о каждом, забываем всех». Это диалектика природы, Евангелие от Ёлки. Но и в нём не хватает осознанного метода ипостасного соотношения. И Пришвин не употребляет ни этого термина и не имеет такого понятия, хотя вплотную к нему подходит. Итак, ещё и ещё раз. Правда ипостасного учения спасительна, ибо она соединяет божественно необъяснимое, божественное,

логически не подлежащее истолкованию, и земное, человеческое, разумно, опытно, экспериментально подтвержденное знание. И способность сотворчества, способность творить в мире бытия новое бытие, которое было бы ипостасно первому. Только так, еще и ещё раз, только так можно одолеть нынешний страшный кризис и победить войну в этой информационной или, как угодно, почти горячей нынешней войне.

### 6 февраля 2020

Людвиг Берне полагал, что свобода это понятие всегда отрицательное. И если продолжить его определение, то светлое будущее, понимаемое как царство свободы апофатически, должно быть признано тоже отрицательным понятием. Свобода – отсутствие неволи, вот что это такое. А светлое будущее как царство свободы – это отсутствие в будущем всего, что свободу державно ограничивает. Ну, в частности, отсутствие государства. Оно отомрет. Отсутствие иерархии, начальников. Ну, эта особая возможность пользоваться тем изобилием, которое будет добыто на путях освобождения труда. Свобода брать по потребности, отдавать по способности. В общем, жизнь как нечто такое, что во всей чистоте своей соответствует, отвечает природе человека. Своеобразное апофатическое отношение к коммунизму проверялось в своё время, когда весть о том, что нынешнее поколение уже будет жить при нём, было вписано в программу партии. Вот оно очень часто в быту выражалось в том, что иногда спрашивали друг друга: веришь в коммунизм? Ну, примерно так, как герой Достоевского спрашивал: ты что, в Бога веришь? и в Новый Иерусалим? Вера приобретала понемногу всё более и более апофатические черты. И постепенно сошла на нет.

И сейчас, если о социализме может встать вопрос как о реальном творении человеческого опыта, то уж вот о царстве свободы, казалось бы, решили забыть. Но если применить берневское определение, свобода – понятие отрицательное, именно – отсутствие неволи, то тогда оно возвращается. Возвращается как воля, тенденция, борьба, преодоление. Каждый раз, когда удастся преодолеть то, что сковывает свободу, рождается и вновь приходит мечта о том времени, когда, если вспомнить Паустовского, люди перестанут достигать и начнут пользоваться достигнутым. Он, кстати, так пытался истолковать феномен поэзии. Поэзия предсказывает ту

реальность, когда люди перестанут достигать и будут пользоваться тем, что уже достигнуто. Об этом говорит совершенная поэтическая форма. Мысль интересная, глубокая, но она может быть развита и применена более широко, не только к поэзии. Иными словами, весть о светлом будущем всё время даёт о себе знать. И когда мы чего-то достигаем, и когда мы на этих путях освобождаем себя хоть в чём-то, призрак коммунизма вновь начинает бродить не только в Европе, но и во всём мире. А так, как в «Фаусте» Гете сказано, что свобода возможна лишь тогда, когда каждый день муж, старец и дитя с бою завоевывает её. Только тогда, когда ежедневно, всечасно, ежедневно, «трудясь, борясь, с опасностью шутя, /Жить будут муж и старец, и дитя. /Народ свободный на земле свободной /Видеть я б желал в такие дни». Ну вот, если Фауст Гете пришёл к такой версии, то, значит, она провозглашена для всего человечества тем, кто уподобил своего героя всему нашему человеческому сообществу; сделал символом всех рождённых во плоти и предназначенных для вечной, ежедневной и ежечасной борьбы за свободу.

Но когда приходилось говорить о коммунизме, а приходилось очень много говорить – на уроках литературы, вот когда коммунизм был вписан в программу и был официально началом, итоговым смыслом идеологической модели, тогда умные ребята в математической школе никак не могли расстаться с четвертым сном Веры Павловны. Я помню эти бесконечные уроки и дискуссии. Тогда в спорах о таком светлом будущем, из которого надо переносить в настоящее всё, что можно перенести, вот эти споры, которые никогда нельзя было кончить. Я это прекрасно помню. Очень жаль, что они не были записаны, точно воспроизведены, пересказаны. Ибо в них умные ученики всерьёз пытались определить контуры общества без государства, царство свободы, которое всё же царство. А если царство, то это порядок, некий строй и некий режим. И все время сбивались в этих спорах полемисты. Потому что государство так или иначе опять возвращалось. Если коммунизм это определенный порядок, то в нём должны действовать запреты. Запреты эти, по сути дела, тоже государство. Свобода воспринималась как познанная или осознанная необходимость. В 18 веке свободу понимали как познанную необходимость. Официально, идеологически в нашем XX веке, на уроках литературы в математической школе её трактовали как осознанную, не познанную, но осознанную

необходимость. Разница заключалась в том, что когда необходимость познана, становится ясно, нужна она или не нужна, неизбежна она или призрачна. Вот можно было определить, что то, что считается необходимым, совсем необязательно. Может быть обойдено, так или иначе преодолимо. И вот оказывается, что мы познали, что этой необходимости нет, и стали свободны. А вот осознанная необходимость многими трактовалась как примирение с отсутствием свободы. Человек понимал, что условия, которые ограничивают свободу, неизбежны. Он осознавал это и переставал стремиться к тому, чтобы эти условия необходимости были изменены. Осознав их неизбежность, он освобождал себя внутренне. Обретал в себе какие-то особые силы, когда, даже будучи в заключении, будучи приговорённым к близкой смерти, человек в самом себе черпал особые силы, которые он иначе не мог бы ощутить и высвободить. Он черпал эти силы в себе и становился свободным, независимо от обстоятельств. Конечно, такая версия не была прописана официально. Но в спорах она возникала, я вспоминаю об этом. И вот так четвертый сон Веры Павловны длился и длился на уроках литературы. И сейчас, когда, казалось бы, нужно осознать только одно – то, что человек навсегда по природе своей слаб и грешен, всегда должен не бороться за свободу, а выживать, меняясь, приспособляясь к условиям. И что эти условия, по возможности, можно было бы сделать человеческими, и это и есть социализм. Или наоборот, можно вовсе не заботиться о том, чтобы преодолеть сковывающие человека обстоятельства, а опять же, предоставить ему возможность осознать необходимость и таким образом в себе почерпнуть свободу. Вот сейчас это ....

### **7 февраля 2020**

Был технический перебой. Продолжаем. Во второй части «Фауста» волшебница Маунта говорит о заглавном герое: кто хочет невозможного мне мил. Но ведь невозможно, с точки зрения логики, всё бытие. Всё кажется и выглядит чудесным, неким чудом. Всё восходит в этом смысле к ипостасному началу. И мы уже беседовали на эту тему. Небо и земля ипостасны, царство Божие и царство свободы на земле тоже. Вот поэтому все размышления, все предположения, все надежды, все верования в светлое будущее абсолютно оправданы. Ибо они могут быть обращены к любому из необъяснимых

проявлений природы и божества. Тем не менее, «Кто хочет невозможного, мне мил». Итак, увенчанный и благословленный этой прекрасной формулой Фауст в запредельном мире античного мифологического прошлого, в царстве матерей, добывает себе Елену Прекрасную. Но там же, в этой универсальной вселенской форме бытия и небытия, в царстве будущего, находится источник света, блики которого оживают, вспыхивают в лучшие мгновения человеческой жизни. Когда удастся почувствовать, что такое ипостасность. Коммунизм ипостасен прошлому и настоящему. И дело не только в том, что был первобытный коммунизм, условно так обозначенный. Блики его были и в античности и в средние века, и в нашей сегодняшней современности.

И когда Толстой, завершая «Воскресенье», свой роман, влагает в уста Нехлюдову мысль о том, что мы живы не потому, что настроили тюрем и сотворили столько государств и человеческих законов, а мы живы, потому что мы любим друг друга. И это финал грандиозной, потрясающей фрески, которую представляет из себя роман Толстого. Неплохо было бы, если бы нечто подобное было создано в литературе сейчас применительно к 20 и к началу 21 века. Мы и сейчас живы не потому, что существует, в кавычках, торжествующий капитализм, а потому что мы любим друг друга. Потому что капитализм есть колыбель коммунизма. И так будет всегда, до тех пор, пока существует светотень истории. Мы всегда будем так или иначе сползать в эту бездну. Но эта всепоглощающая бездна, вместе с тем, и миротворна. Она может творить. И она порождает, как ортодоксальный марксизм утверждал, порождает своего могильщика. Капитализм, который, якобы, сегодня восторжествовал – только в нашей стране. Потому что везде уже посткапиталистическая реальность. Капитализм есть подступ к коммунизму, изначальная, ещё пока небытийная форма коммунизма. Здесь тоже действует закон ипостасности. Он оказывается спасительным и в этом случае.

Те, кто запрещает себе и другим мечтать о будущем, те, кто смеется над самой возможностью таких утопических мечтаний, не только ошибаются. Они совершают грех перед тем, что можно назвать и природой, и божеством, и словом, и силой, и мыслью, и деянием. Перед всем тем, что необъяснимо как чудо. Перед чудом движения, создающего пространство и творящего из небытия бытие. Все эти детские сказки оказываются реальны, ипостасны реальности. Но значит ли это, что абсолютная окончательная победа коммунизма, царства идеала, царства свободы есть отступление от самого

принципа ипостасности? «Из царства идеала сбегая в тот же день. Здесь тень моя пропала, не только светотень. Здесь втягивает вечность воронкою небес, чтобы теряя вещь, ты в вечности исчез». Мы уже цитировали эти строки. Вероятно, не только капитализм та бездна, в которую мы так или иначе можем сползть. Поэтому каждый день нужно с бою завоевать свободу. Но и Средневековье – такая бездна. И античность, и древность. Может быть, изначальная, природная древность, та, которую Руссо называл естественным состоянием человека, где человек был естественным, уже там вспыхивали блики вечно достигаемого, вечно недостижимого будущего. Но что может быть достигнуто?

Достигнуто может быть понимание того, что оно, это царство идеала, ипостасно миру вещиности, миру реальности, как мы его до сих пор понимаем. Вот это должно быть достигнуто. Тогда в этой светотени бытия тень не страшна. Как не страшен и этот бестеневой свет познания. «Познание стопроцентно, /И всё же улетай. /Беги от эпицентра /Потусторонних тайн. /Увы, Господь опознан /И выведен на свет. /Беги!.. А мне уже поздно... /Меня, как видишь, нет». И то и другое есть те полюса, между которыми располагается бытие. Но очень важно знать, что существует этот великий плюс и великий минус. Когда знаешь это – светотень признак жизни, и тень не страшна. И свет не страшен. И тогда Пришвин прав: «Мы живы благодаря теням, но тени мы не благодарим, и всё дурное называем теневой стороной жизни. А все лучшее стороной светлой. Тени, тени земной мы обязаны жизнью. Но так устроена жизнь, что всё живое тянется к свету». Это цитаты из книги «Глаза Земли». И она о том же. Если понять будущее таким образом, а, по-моему, весь опыт человеческой мысли так или иначе, на разных образных языках, в разных системах образности говорят об этом, подсказывают это, то тогда исчезнет необходимость в насильственном внедрении царства свободы.

Ведь вот роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» завершается тем же самым. Нужно с бою завоевывать истину каждый день. В этом смысл заповеди, которая излетела из Божественной бутылки: пейте! Пейте мудрость, пейте опыт, пейте то, что будет ускользать каждый день. Но если вы будете знать, что вы пьете из этого божественного сосуда, вы будете уже гражданами того царства небесного, которое удаётся сотворить на Земле. И наоборот. Попытка, как мы уже беседовали о том, попытка разрушить закон

ипостасности ведёт не только к заблуждениям, не только к тупикам, логическим, каким угодно, но она ведёт к самым страшным, самым непростительным крушениям, которые всегда подстерегали, и масштаб которых увеличивается до беспредела. И сейчас особенно кажется реальным и осязаемым. Ведь всё зло заключено в этом уводящем от истины разрыве с ипостасной правдой. Войны возникают, как показывает наша нынешняя современность, не только в борьбе за жизнь. И справедливая война, восстанавливающая мир, та самая война, которая не ради славы, а ради жизни на земле, и которая противостоит войне, понятой как двигатель истории, как та самая сила, без которой настоящее движение истории невозможно.

Вот это противоречие и противостояние вызвано забвением или неосознанием закона ипостасности. Попыткой утвердить ипостась как абсолют, который таким образом перестает быть ипостасью. Так может быть понята, разрешена, казалось бы, такая страшная формула: коммунизм и фашизм родились в одной колыбели. У меня этому посвящен целый роман «Политик». И там, действительно, два сына главного героя, заглавного героя, политика, представляют это, почти в одной колыбели рождённое противостояние. Один становится лидером-фашистом, на нашей уже, российской почве, нынешней или завтрашней, не дай Бог. А другой – коммунист. Кончается это смертельным. Смертельной встречей. В Кремле брат убивает брата. За отца, которому выпало на долю это страдание, этот крест осознания того, как почти в одной колыбели родились не два этих сына, а их будущее противостояние друг другу. Целый роман посвящен этому. Пока на нашей почве ещё такое не происходило. Но тенденция к этому очень даже жива. И предупредить в этом чудовищном страшном грехе, я думаю, надо было. Этот грех подобен библейскому первому убийству, когда Каин убил Авеля. Нарушена ипостасная правда. И вот возникает фашизм, нацизм. Можно еще поискать слова, чтобы определить это зло. Встреча с которым вообще многое определило в моей жизни, когда мне пришлось увидеть, что такое блокадный Ленинград. И когда над головою моей, моей матери и тех, кто спасался в газоубежище, в бомбоубежище, прогремел сотрясший почти всю землю, как мне казалось, взрыв вражеского попадания во время налета. Это совершилось над нашей головой. И только кирпичный свод подземелья бомбоубежища чудом нас

спас тогда. Встреча моя была, с этой встречи, по сути, началась моя, осознающая себя жизнь. Так вот, я знаю, что такое это зло.

Но коммунизм, который снимает всякую возможность светотени, это не просто мечта, не просто утопия. Но если он исключает возможность светотени, если он понят как задача, осуществимая задача, то совершенно ясно, что это очередное заблуждение. И оно будет, против воли тех, кто верит в него, причиной многих бедствий. Коль скоро люди научатся жить без государства, такое вполне допустимо, это не просто детская сказка, это одна из ипостасей, если только она будет осознавать себя как ипостась. И тогда не страшен тот, оспаривающий её, противоречащий ей вызов бытия и небытия. Ну, не будет государств. Ну, наконец, мы научимся не выживать, а жить. Ну, наконец, мы, отдавая по способности, научимся брать по потребности, не исчерпывая нами же добытое богатство. Но тут обязательно, непременно встанет новая задача. Ипостасность потребует её решения, ежедневного, ежечасного. И поэтому, мечтая о светлом будущем, ни в коем случае нельзя представлять его без этой тени. «Лети, беги и странствуй, вернись к себе домой. /Оберегай пространство от вечности самой». И перед этим: «Беги, спасённый Фауст, обманутый Шлемиль». И я думаю, достаточно будет самых, казалось бы, страшных и необоримых альтернатив. Вот почему у Платонова ожидание будущего, само представление о коммунизме одно время было надеждой на возможность решить проблему угасания солнца. То, что, казалось бы, воистину невозможно, чему нельзя помешать и что можно отодвинуть. Коль скоро это схлопывание и угасание солнца осуществится через неизмеримое временное пространство. Можно всё это отодвинуть. Но когда-нибудь перед теми, кто научится жить без государственного насилия, эта задача встанет как реальное дело, требующее реальной мысли, живой и земной силы и точного изначального слова.

Вот о чём спорили умные ребята в десятом классе, предвыпускном 10 классе, на уроках литературы. Я очень жалею, что не стал записывать после каждого урока то, что говорилось тогда. Говорили дети, но говорили умные, порою старчески умные дети. Будущие талантливые математики. В этом смысле да, отобранные ребята. Тем не менее, они обладали всеми достоинствами, недостатками обычных ребят, и в моих глазах не отличались от учеников любой другой школы. Да так оно и было. Ибо слабости, присущие этим ребятам, этим ученикам, были такие же, как и у других. А



иногда и более, более страшные, более явные. Работать в такой школе было труднее, чем в других, а не легче, как об этом в свое время со мной спорили. Они говорили: у вас отобранные ребята, поэтому у вас такие уроки. Да, это было так. Именно потому что ученики были такими, и уроки были такими. Они вместе со мной творили эти уроки. Но это было очень часто невыносимо трудно, не разрешаемо трудно. И некая волшебница Маунта могла бы сказать: кто хочет невозможного мне мил. Вот милыми были многие мои сотоварищи по этим урокам. Ну и сам я, видимо, как-то отвечал той правде и тому закону ипостасного общения, на полифоническом уроке. Вот тогда нужно было записывать. Может быть, эта запись, которая длилась несколько лет в разных классах, составила бы книгу отнюдь не просто детских представлений и формулировок, а нечто большее. То, что я сейчас вспоминаю, и то, что бросает свет на сегодняшнее моё бытие на грани, за которой кончается эта моя ипостась. Блики эти вспыхивают, живут в душе.

Да и вот завтра ко мне придут, нет, не завтра, сегодня придут ко мне новые мои ученики. И среди них те, кто пишет о Томасе Море, о Кампанелле, и о нашем сегодняшнем страшном, почти предконечном опыте бытия. Если такое вновь обращение к тому, что когда-то так напряжённо, так трудно, так парадоксально звучало на тогдашних уроках и наших встречах, если это возвращается сегодня, значит, оно вернётся в каком-то новом проявлении. И об этом новом проявлении ещё придётся сказать. По крайней мере, сейчас наши встречи, наши беседы за круглым столом обещают то, что кое-что будет записано словесно, на бумаге, а кое-что, вот как с помощью этого моего диктофона, который я держу в руках, может быть записано с голоса. И то, что ребята тянутся к такому разговору, вовлечены в него, и меня втягивают в него сегодня, добрый знак. Такие поколения возможны, и они явятся. «Меняйте Конституцию и знамя, /За всех убитых совершайте суд. /Страною ипостасного сознания /Меня мои потомки назовут». Это говорит Россия в одном из моих давних уже стихотворений. Ну, явившихся когда-то в самом начале или в конце двухтысячных годов. Где-то в 2009. «Кто хочет невозможного мне мил». Как хороши эти слова величайшего из реалистов Гете, с которого так неожиданно и неосознанно началась эта моя ненаписанная повесть. Когда впервые в Киргизии я узнал, будучи шестилетним, о Фаусте, Мефистофеле. Рядом с неосознанной встречей,

когда я впервые увидел листочек из Библии с иллюстрацией, под которой была подпись: «Видение Иезекииля».

### 8 февраля 2020

Война – разрыв ипостасности отношений между народами, государствами. Да и само государство есть знак позиционной войны. И в этом смысле Толстой прав, чувствуя или предчувствуя, что наступает эпоха жизни без государств. Наступает лишь в духовном предвидении будущего, но отнюдь не в реальности. Так и сейчас. Мне казалось, что внутри Советского Союза, союз республик свободных, были сняты всякие границы. И даже дело не в том, что при этом возникал поверх национальный советский народ. А в том, что, даже оставаясь на своих землях, оставаясь народами, люди научались жить без государства внутри этого Союза. И мне казалось, что надо было лишь попытаться, сохраняя, обязательно сохраняя такой союз, такой безгосударственный союз внутри государства, снять его внешние границы. Но это можно было сделать лишь в том случае, если будет встречное намерение и встречное действие по снятию границ. Но это не осуществилось. Это была в некой степени утопическая иллюзия. Хотя в Европе создалось что-то подобное Советскому Союзу – Евросоюз. И там тоже, по существу, дело шло к тому, чтобы снять межгосударственные границы внутри этого объединения. Как бы ни был враждебен Евросоюз по отношению к России, которая продолжает нести в себе живую инерцию Советского Союза, как бы он ни был настроен враждебно или недоверчиво, или предвзято расчетливо, я любил эту идею. И мне нравилось то, что возник Евросоюз. Но вот он уже на глазах разрушается.

А мы разрушили наш союз и, вместо того, чтобы сохранить вот это безгосударственное единство, провели границы внутри распавшегося союза, полили их кровью. Эпоха государственности в данном случае у нас, на российской почве, почти разрушенной, вновь возродилась эта идея. И опять таким образом понятый патриотизм становится главной национальной идеей. А таким образом понятый патриотизм есть информационная, позиционная и, может быть, где-то возможна горячая настоящая война. Так вот она, эта война, в разных проявлениях, есть нарушение закона ипостасности. В своё время Лев Толстой уже в 900 годы думал, что настала

пора преодоления этого атавизма – государственного патриотизма, как он это понимал. Пришла пора осуществления, применения к жизни, к опыту жизни тех пяти заповедей Нагорной проповеди, которые он по-своему истолковывал. Это не состоялось. Революция сама по себе была почти бескровной. Но её продолжение, её особая форма, гражданская война, соотнесенная с только что развернувшейся мировой войной, всё отодвинула. Надежда Толстого на безгосударственное царство Божье рухнула. А потом нужно было готовиться к новой войне. И очень своеобразно понятое единство народов во всей Европе – мировая революция – тоже, как призрак, отошла. И Сталин уже чувствовал, что надо восстанавливать царскую Россию, под другими знаменами, в других, совершенно новых формах, укреплять государственность, даже не очень думая о коммунистическом будущем. И, так или иначе, несмотря на чудовищные формы, в которых это осуществлялось, он одержал победу в этом стремлении. Ему удалось по-новому, но восстановить взорванную Лениным царскую Россию. Вот сейчас вновь призрак войны бродит по Европе. И те единства национальные, которые входили в Советский Союз, становятся обособленной государственной, враждебной России, силой, пусть и управляемые извне, как говорят наши политологи. А надежда на ипостасное светлое будущее вообще кажется настолько несерьёзной детской мечтой, что о ней даже не спорят.

Тем не менее, именно она будет возрождаться, обретать свои особые очертания, осмысляться в системе духовной культуры. Религиозно, научно, даже художественно. Возродится искусство, и опять встанет та же проблема осознания ипостасного начала как начала природного, человеческого, божеского для тех, кто верует, природного для тех, кто не особенно верует, и спасительного. Но я это говорю себе самому лишь потому, что чувствую силу этого ипостасного природного, человеческого и божеского закона. Ибо его нарушение это сверх атомный взрыв. Это больше, чем физическая цепная реакция. И об этом непременно надо написать. Родится новая эпопея, новый эпос «Война и мир», где и война, и мир предстанут в новом сочетании, в новом соотношении. У Толстого война была нарушением природного закона, всеобщей универсальной связи, которая и есть мир. Когда отдельные человеческие «я», бесконечно малые моменты истории, борясь за себя, создают абсурдную ситуацию войны. Ту ситуацию, поднимают ту волну, на гребне которой так легко утвердиться в качестве лидера тому, кто будет

провозглашать, что всё зависит от его воли. Это, по сути дела, почти проповедь ипостасности мира и отступление от закона ипостасности войны. Но всё равно, я думаю, что осознание этого закона даст возможность создать такое эпопею, которая, продолжив великое свершение Толстого, может потягаться даже с ним силой, правдой эпического, подлинно эпического дыхания. Эпос несёт в себе это ипостасное начало, неосознанное, понятое ещё недостаточно, но, тем не менее, живое, могучее. Однако, новый эпос обретет совершенно новые проявления. Я уже вот чувствую, каким он может быть. И, разумеется, ни в коей мере не претендуя на то, чтобы создать такой эпос, я всё равно буду пробовать. Мои рассказы о войне «Бомбоубежище», «Дух Земли» и даже «Страшная сказка» есть очень робкие, микроскопические подступы к этой громадной теме. Я уже вижу героев эпоса. И, кто знает, может быть, такое эпическое сознание, включающее в себя и драму, трагедию, и, разумеется, глубинное самораскрытие личности, индивидуума и ипостаси, осознающей себя самоё, обретет новые формы и явит ещё небывалую в поэтическом отношении красоту правды. Разумеется, мне жалко расставаться с этой мечтой и надеждой, жалко оставлять всё это в этом мире, переходя в незнакомую для меня иную ипостась. Но в ней всё равно предстоит осознать то же самое, что я осознаю сейчас, но как-то по-новому. И кто знает, может быть, вернуться к себе самому и осознать этот возврат, и догадаться о том, что он состоялся.

### 9 февраля 2020

Поэт Ключников, близкий к кругу Белинского, автор гениального стихотворения «Я не люблю тебя», которое Белинский цитировал среди строчек Лермонтова, не пометив в своей статье, кто автор. И поэтому строки стихотворения можно было приписать самому Лермонтову. Фигура интересная. Он прожил довольно долгую жизнь. Но дело в том, что я почему-то забыл его фамилию. И до тех пор не мог взять в руки диктофон, пока не вспомнил её. И вот этот момент для меня имеет некоторое значение. Очень многое уходит из памяти, но уходит то, что ты хорошо знал. И вот память вьется вокруг этого ушедшего из неё, знание вот-вот готово ухватить ушедшее. И оно никак не даётся. И всё-таки я знаю: если сосредоточить эту память, если запретить себе любое действие, любой, даже творческий,

казалось бы, порыв, пока ты не вернешь то, что ускользнуло из твоей памяти, когда сосредоточишь вот таким образом всего себя, обязательно вспомнишь. Это значит – очень многое из того, над чем мы бьемся всю жизнь, пытаемся понять, сформулировать, объяснить самим себе и другим, и это нам не даётся, но мы всё равно возвращаемся всю жизнь к тому, чтобы это прояснить для себя и для других, – значит, речь идет о чем-то похожем на то, что я сегодня утром пережил.

Мы когда-то знали всё то, что не даётся нам, что ускользает от нашего понимания и познания. Но, тем не менее, возвращает к себе. И вот мы чувствуем некую границу, которую, уже мы смиряемся с этим, вроде бы, нельзя перейти, и неясное стремление к тому, чтобы всё-таки разрешить близкую нам, но пока не решенную задачу. Задачу, решение которой вот почти можно, протянув руку, нащупать в воздухе. Вот когда мы это переживаем, чувствуем, это означает: мы это знали. Нам это было доступно. От нас это ушло, но мы можем это вернуть. Нужно только верить в то, что ты это сможешь сделать. И ты сделаешь в какой-то момент. Это покажется не просто озарением каким-то, а вот, как Мережковский писал в одной из своих книг, ты это открытие свое как будто вспомнишь. Так Наполеон кое-что вспоминал из своих решений. И так, наверно, может вспомниться, если бы продлилась жизнь, самое непостижимое, самое уже проверенное как непостижимое. Оно, на самом деле, доступно постижению. Нужно только очень сосредоточить свою память и вспомнить его. Ницше таким образом сделал по-своему гениальное, но важное и точное открытие, когда впервые подумал, что вот на этом камне, вот в этих горах когда-то сидел такой же человек. И этот человек думал то же, что думает он сейчас. И так он открыл для себя вечное возвращение и сам испугался своего открытия. Даже очень бегло включил его в своего «Заратустру». Только в дневниковых записях попытался развернуть это страшное для него открытие.

На самом деле, речь идет не о вечном возвращении, а об изначальной связи твоего бытия с общим бытием, с бытием других. И мы приходим опять к идее ипостасности. Ты вспоминаешь даже не то, что знал сам, даже не то, чем ты обладал в своём сознании прежде. А вспоминаешь то, что переживал и имел в своём сознании кто-то другой, твоя ипостась. Если вдуматься ещё глубже, сосредоточиться ещё больше, то для того, кто верует в персонального Бога, он сможет вспомнить некие Божии решения и его

неисповедимые движения. Те, которые кажутся не разрешаемой тайной для человека. Это удивительно, радостно, спасительно. И как хорошо, что я сегодня это подумал и это пережил. Будем вспоминать. Но только будем знать, что вспомянутое это не то, что было. А то, что было для нас только что или в течение всей нашей жизни недоступно. Но это нечто небывалое, новое, ипостасно соотносящееся с тем, что было в других ипостасях. И у самого Бога, если ты веруешь в его персональное внебытие. В том случае, конечно, если ты веруешь в него как в создателя бытия.

Все эти мысли, все эти радостные, не утешительные, а радостные, состояния я переживаю, может быть, ещё и потому, что вчера был очень тяжёлый, несказанно тяжёлый день. Дважды Вилли, моя собачка, переживала очень краткий припадок. Она сучила передними лапками, дергалась задними, не могла даже встать на ноги. Тем не менее, Вилли не издавал ни одного звука, порождаемого болью. Он сучил лапками передними и задними, справлялся со своим состоянием, вставал на ноги несколько раз, они расползались, и он падал. Все-таки он ещё и ещё раз вставал на свои лапки, и ему это удавалось. Он опять твердо, сильно и быстро двигался и бегал по комнате. А когда мы выводили его гулять, то тянул меня за поводок, так что я с большим трудом удерживался на ногах, как мне казалось. А придя домой, вернувшись домой, он прыгал в кресло, это требовало силы задних лапок, спрыгивал с него. Всё возвращалось в прежнюю здоровую норму. Припадок повторялся дважды. А до этого, позавчера, был точно такой же припадок. Но каждый раз Вилли справлялся с ним быстрее, как бы увереннее. И при этом не издавал ни одного звука боли. Было невыносимое мне, в моём чувстве, волевое и осознанное движение к тому, чтобы побороть этот припадок. И он как будто научался его преодолевать в самом начале. Поэтому последний из них длился всего минуту. А первый, позавчера, потребовал чуть ли не целого часа, чтобы привести себя в порядок. Невыносимо то чувство, которое вызывает это страдание собаки. Причём, осознанное и по-собачьи безмолвное. И я подумал, что же ждет нас – сегодня, завтра? И неужели Вилли способен сам себя излечить? Конечно, можно и нужно спрашивать врачей, показывать его. Но у них свои, может быть, точные и выверенные, но стереотипные предположения и решения.

А Бетховен, потерявший слух, мог сказать себе и говорил: человек, помоги себе сам. Так вот в течение всей жизни, вот в пределах твоей ипостаси, которую ты переживаешь и которую ты полюбил и хотел бы, чтобы она продлилась, как счастливое фаустовское мгновение, вот это переживание, мысль моя перебивается немного, горькое и непереносимо тяжёлое, когда речь идёт вот о нём, о моем Вилли, с которым я сроднился. Ему уже скоро, через какое-то время будет 15 лет. Он перешёл границу, положенную для таксы. И вот он борется и безмолвно одолевает. Вот так же нужно всем, ипостасным по отношению к нему, одолевать, преодолевать и вспоминать то, чего не было. Но ипостасное чему – было и есть, и вокруг сейчас, и рядом с тобой, и в прошлом. То, что не просто обещает, а точно сохраняет за тобою возможность твоего ипостасного будущего. Вилли смотрел на меня такими глазами. Я часто сравниваю его необыкновенные глаза с глазами Гете. И в самом деле, они проникают, эти взгляды этих глаз проникают настолько в самую душу, что мгновенно теряется прозрачная грань между тобой и собакой. И это чувство сильнее чисто человеческого, оно становится каким-то необъятно прекрасным – как откровение, как обещание твоего, ипостасного по отношению к нынешнему, иного, но того же самого бытия.

### **10 февраля 2020**

Толстой, особенно в конце жизни, всё время возвращался к идее единения людей. И при этом он прекрасно понимал, как порою неуловима граница между этим стремлением к единению и агрессивным противостоянием в мире. Противостоянием множества людей. Прежде всего, национального противостояния. Если идея единения людей в том смысле, в каком это Толстой проповедовал и высказывал, если это стремление можно уподобить осознанной правде ипостасности, то потеря этого ориентира и будет отступлением от этой правды. У Толстого есть очень точное уподобление, сравнение. Последнее произведение, над которым он работал очень долго, по крайней мере, возвращался к этому тексту неоднократно, да письмо в ответ на приглашение принять участие в некоем конгрессе по единению славян. Толстой отвечал, что он старый и по состоянию здоровья не может принять участие в этом мероприятии, но

сочувствует ему и даже выражает надежду на то, что именно славянские народы смогут сделать важный шаг к единению людей всего мира. Потом кто-то упрекал Толстого в том, что он этим выделением собственно славянских народов пошёл против своей же идеи. И он чувствовал неловкость и сказал, что сделал в своём письме такое заявление и выражение такой надежды чисто дипломатически. Это, действительно, уже отступление от принципа единения всех, но по дипломатическим поводам, причинам, обращаясь к тем, кто устраивал этот конгресс по единению славян, он допустил это, и ему неловко за такое отступление. И там, в этом письме, прямо говорится о всеобщем единении и о недопустимости, с точки зрения этой высокой цели, единения частичного. А именно к такому единению очень часто и приходят, к идее такого единения, в реальной политике, в реальной борьбе народов, государств. Толстой уподобляет этот процесс попытке открыть ключом некий замок. Ключ – это вот способ всеобщего единения, и замок предназначен для этого ключа, для применения этого ключа. Так вот частичное единение это попытка открыть замок, не дослав ключ до конца. До того положения, когда он открывает. И таким образом, отступая от самой идеи и ключа, и замка, можно и дверь не открыть и замок испортить. Да и ключ сделать бесполезным и, может быть, ему повредить тоже.

«Настоящее единение, – писал уже близкий к концу Лев Толстой, – это единение полное, абсолютное, нацеленное не на частичное по национальному или родовому биологическому принципу». Он резко в этом письме говорил о том, что пусть частичных единений не будет, пусть лучше их вообще не будет, если они остаются частичны. И невольно противопоставленными другим множествам людей, другим народам. А в итоге, могли бы мы прибавить, всему человечеству, кроме этих национальных множеств, о которых, вероятно, и заботились прежде всего организаторы конгресса. Частичные единения не только не способствуют всеобщему единению, как размышлял Толстой, они враждебны ему. Потому что нарушен принцип. И вот мне кажется, что, в частности, в этом письме Толстой вплотную приблизился к идее ипостасности, потому что ипостасность это именно идея всеобщего единения, на самом высоком духовном уровне, на предельно высоком. Индивид думает о себе, в первую очередь и в последнюю очередь. Личность думает о многих людях, но



применительно к себе – как лидер некоего общественно значимого движения. Тут есть уже шаг к некоему частичному единению. Но оно ограничено, даже если провозглашаются идеи, которые могут перевернуть весь мир. Но они связаны с личностным лидерством и поэтому несут уже в себе ограничение. Это всё равно единение частичное. Временами отражает эта личностная борьба за единство идею всеобщего единения, а очень часто, наоборот, противопоставляет ей неполное соединение людей. Вот когда ключ не досылается до того положения, когда он открывает, и когда кто-то пытается, не дослав ключ, открыть дверь и ломает и ключ, и замок. Но именно ипостасное проявление личностного и индивидуального роднит и индивидуальность, и личность всеобщим универсальным единством людей. Именно оно, во всей его полноте осуществленное, и есть единение ипостасное.

Вот почему даже такие феномены, как борьба за мировую революцию и, конечно, концепция коммунизма приближаются к осознанию этого принципа – собственно ипостасного единства человечества. Вот почему эти идеи будут возвращаться так или иначе. А идея фашизма, расистского единения, возвращаясь, представляется сейчас и завтра одной из самых страшных угроз. Одной из самых страшных предвестий беды, планетарной беды. Хотя она так увлекательна. Но это идея частичного единения, и она ведет к насилию, к борьбе, к войне, к той самой изначальной форме, в которой когда-то и проявлялась жизнь племён и народов. И которое преодолевается, так или иначе, но преодолевается человечеством; ибо оно не достигло никаких победных, нравственных свершений на пути частичного единения. Империи, мировые империи, которые при этом создавались, терпели крушения. Наш Советский Союз тоже погиб. Но не потому, что он свидетельствовал о возможности всеобщего единения. Он погиб по другим причинам. Сама идея всеобщего единения в нем искажалась и пропадала даже. Всеобщее единение в отдельно взятой стране, где живут многие народы, соприкасаются многие культуры, и духовные культуры, конечно, могла быть прообразом всеобщего единения. Но только в том случае, если эта цель не исчезала. И если эта цель осуществлялась другими средствами. Если эпос такого преодоления, достижения и прорыва в будущее был другим, ещё не испытанным на нашей планете. Тут очень многое ещё можно и нужно сказать об истории победного утверждения, особенно сказавшегося

в победе надо фашизмом. И истории крушения этой идеи и этого движения, и этой правды. Всеобщая, а не частичная ипостасность исчезала. И когда по политическим и в контексте борьбы за мир, которая была сразу после войны начата, вот такая идея замкнутого в рамках Советского Союза и социалистического лагеря модель возможного будущего, всемирного единения, теряла в сознании людей свой конечный, изначальный и конечный смысл – построение коммунизма в отдельно взятой стране, обретая государственные формы своего осуществления, формы насильственные, не могла не привести к крушению Советского Союза. Ибо главное, одухотворяющее многие поколения людей, героически боровшихся за лучшее будущее, всепланетное лучшее будущее, вот эта борьба незаметно, совершенно незаметно, подменялась другой. Вот то самое мирное сосуществование, опять же обретая государственные формы, формирование особого лагеря социализма, противостоящего другим народам, тоже несло в себе блики будущего. И вместе с тем, теряло эту идею ипостасного, полного, а не частичного единения. Частичное единение тоже может быть ипостасным, но оно уже несет в себе возможность и реальность отступления от ипостасной правды. Оно и есть тот самый ключ, который не досылается до конца и не открывает замок. Я думаю, здесь очень многое может быть прояснено. Но как быть, как сделать, чтобы это прояснение стало всеобщим, а не выразалось в такой форме утренних медитаций, которых никто не слышит, а, услышав, никто не спешит принять.

Страшное, апокалиптически страшное отступление от закона ипостасности, всеобщей, универсальной ипостасности, именно такой, какой она должна, ипостасность, быть, это отступление есть источник будущих возможных бед и катастроф. Я прямо становлюсь, в своих, разумеется, глазах, неким Нострадамусом, который предсказывает эти бедствия. Но я уверен в том, что идея эта всё равно, освобождая себя от ложных проявлений и форм осуществления, то эта идея будет к себе возвращать. А так как она ни разу не была практически осуществлена, в том числе и идеей коммунизма и мировой революции, то, значит, ей предстоит особое будущее, небывалое в прошлом, подлинно ипостасное будущее. И это не мечтания и не философствования только. В этом природа человечества, которое состоит из индивидуумов, в котором приходят к своей особой роли лично раскрывшиеся индивиды, личности, и которое по-настоящему

будет удовлетворено, когда достигнет уровня признанного и познанного, осознанного ипостасного значения. В этом суть мировой истории, так или иначе. Такой сложный, такой пока ещё не приведший к результату путь осуществлялся в разные эпохи. И борьба классов была тоже отражением и выражением этого стремления. И, Боже мой, как глубоки были отступления от правды на этом пути! И как важно и как легко, вроде бы, избежать сегодня и завтра таких отступлений, не допустить их. И как реально они предстоят – со всей очевидностью. И всё равно, какие бы апокалипсические крушения на этом пути ни возникали, ипостасное преодоление, подсказанное самой природой, воплощенное в природе человека, народов и человечества, осознает само себя и станет всеобщим достоянием. И это нечто иное, чем мировая революция и мировое внедрение коммунизма. Это, как думается, всё же нечто новое, обновляющее, объясняющее все предшествующие попытки и открывающее пути по еще не тронутой человеческими следами целине истории.

### **11 февраля 2020**

Ипостасный метод жизни индивидов, семей, этнических групп, народов, человечества открывает безграничные, не имеющие границ возможности. И я могу понять тех, кто верует в то, что Божье сознание именно по этим путям, в этих формах открывает себя и пролагает себе путь. И что ощущение безграничности этих возможностей это и есть молитвенное признание безграничности Божьего сознания, что это почувствовать на своём примере дано каждому. Если только он точно, со всеми нюансами, со всей определенностью не замыкает сознание на себе самом или на семейном, или на этническом, или национальном, или на всечеловеческом сознании. Граница, ее признание – ошибка. И наоборот, ощущение каждого из этих проявлений как формы, как ипостаси Божьего сознания, даёт радость, даёт веру, даёт всё то, чего лишает заблуждение, которое ставит границу и уверяет нас, что границу эту перейти невозможно. Или возможно лишь путем самоуничтожения или потери себя. Такое религиозное, мифологическое, или научное, или художественное определение есть заблуждение. И наоборот, ипостасное чувство, предчувствие, верование, озарение, откровение даёт возможность ощутить безграничную возможность не только для наших

землян в их человеческом опыте, безграничную возможность самого Божества, Божественность этой возможности. Открывает само представление о возможности, реальности осуществления Божественного начала в бытии и даже в небытии.

Казалось бы, это так просто. Начинаешь порой даже сомневаться в том, верно это или неверно, настолько просто это признание ипостасности как некоего божества или возможности осуществления божества в бытии и в небытии. Мой герой всерьёз начинает верить в этот ипостасный метод жизни, применительно к себе. И вот чувствует, что он один, что он совершенно одинок в этом своём сознании. Что он разговаривает сам с собою и не слышит ответного голоса ни от кого. Ни из семьи, ни из общества, ни из всей человеческой культуры духовной. Ни философы, ни поэты, ни композиторы, ни религиозные мыслители – никто не отвечает ему на его языке. И тем не менее, он ощущал себя правым, посвящённым, подаренным самому себе правдой этого откровения. И он решается жить в точном согласии с этим даром, попытаться жить. Он оглядывается на свою жизнь, перебирает в памяти все мгновения; те, которые радуют, те, которые вызывают досаду и повергают в скорбь. Те, с которых хотелось бы заново начать жизнь, и те, которые уж ни в коем случае не хотелось бы допустить, повторить. Вот он перебирает всю свою жизнь и убеждается в том, что он прав. Что одарившее его откровение подарило ему ничем не ограниченную радость. При всём том, что сознание этой радости, её осознание, беспощадно. Оно не лжет попыткой сгладить, приукрасить, отодвинуть то, что мучает душу. Наоборот, всё это воспринимается как Божья попытка осознать себя, подаренная человеку, ему, полностью исключаящую какую бы то ни было попытку обмануть себя самого, погрузиться в благостное самосозерцание, которое есть одна из границ, порождаемых заблуждением. Та или иная граница есть явный признак, сигнал того, что ты заблудился.

Но тут нужно оглянуться, нужно всмотреться в себя самого, нужно абсолютно, освобождая себя от этих ограничивающих сознание мифов, спросить себя самого о самом главном. Ответить на этот вопрос тем самым первым ответом, который сразу готов. Он самый верный и, вместе с тем, и самый беспощадный по отношению к тебе. Он совершенно гарантирует тебя от впадения в то, что называют гордыней, то есть глупостью самоограничения. И при этом самоограничение, которое незаслуженно

возвеличивает тебя самого, приписывает тебе нечто такое, что ты ещё не совершил. Некое недомыслие, недочувствие, некий отказ от опыта, который возможен для тебя, пока ты жив в своей ипостаси, а за её границей открывает для тебя новые возможности. Новые существования, в которых самое дорогое в твоём сознании для тебя – получают новую жизнь, свободную даже от сковывающих воспоминаний о предшествующем опыте. И вся жизнь будет отдана попытке вновь овладеть этим, уже осуществленным в других ипостасях, опытом, но так, чтобы он не сковывал тебя. Так, чтобы он открывал тебе новые пути, новую безграничность.

Да, вот мой герой живёт именно так. И вот возникают удивительные, неожиданные ситуации в общении с другими людьми. Они, не понимая и не принимая его веры и его сознания, вместе с тем, не считают его безумным. И поневоле что-то перехватывают из того, что излучает его вера. И тогда разрешаются самые неразрешимые ситуации жизни, сугубо индивидуальные, личностные, национальные, общие для всех людей на грани сегодняшнего нашего настоящего и идущего нам навстречу, предназначенного для нас будущего. И вот тогда возникают те фантастические сюжетные повороты в ненаписанной повести, которые читателю вначале могут показаться фантастикой, запредельной фантастикой, выдумкой или благостным самоуспокоением пишущего. Но тут же что-то должно читателя одарить вот тем же самым, присущим герою, ипостасным откровением. И если такое получится, повесть состоится. Вполне возможно, что ничего не получится. На этих путях очень часто не получалось. Были те, кто ставил перед собой эту задачу. И получалась либо вознесенная над земным человеческим опытом религиозная фантазия, видение, мечта. Творческое осуществление невозможно. Либо тот, кто пробует такое, переживает страшную муку крушения своих надежд. То он впадает в гордыню, то у него просто художественная его способность, его дар, вдруг отказывает ему. Ну, вот таких крушений много. И, вместе с тем, это не вполне крушение. Я думаю, что, если бы Гоголь сейчас вот слышал мой разговор с собою, он был бы согласен и даже обнадежен в своих исканиях, своих самоосуждениях, в своём одиночестве. А я бы сказал ему, что он прикоснулся к этой несказанной и безграничной правде. И сам я, разумеется, попытаюсь опытом своего героя, героя своей повести, дойти до какого-то такого мгновения в жизни, когда ипостась, вроде бы, оборвет своё

ипостасное существование. И это будет величайшее мгновение боли, страдания, и величайшее счастье. Возможность причастности к тому, чего еще нет. Но что уже есть как возможность. И если бы некий Кришна развернул передо мною, или перед героем, свою вселенскую форму, то можно было бы услышать от него, что это уже есть в будущем. Это нужно лишь осуществить сейчас, даже на грани своей ипостаси.

### 12 февраля 2020

«Я руки протянул, когда /Заметил, что тянутся они». И ещё: «Когда я был ребенком /И ничего не знал толково, /Заблудшие глаза я к небу обращал, /Как будто у него есть уши /Внимать моим мольбам. /Кто мне помог с титанами бороться? /Кто спас меня от рабства? /Не всё ль само ты совершило, /Святое пламенное сердце? /Не пламенело ль пламенно /И смело, обмануто признательностью /Ты к тому, что в небе спит». Это «Прометей» молодого Гёте. Именно так построена и задумана первая часть «Фауста». Таков «Пра-Фауст». Там нет «Пролога на небесах». Что значит – перевести Евангелие: в начале было дело? Это значит поставить деяние раньше того, кто это деяние совершил? И все остальные варианты: сила, мысль, слово – это всё принадлежности того, кто совершил. А деяние – это уже совершённое. И оно стоит в самом начале в «Пра-Фаусте» и в «Фаусте» молодого гения. Так же можно было бы переформулировать: наша ипостасность человеческая, природная, существует потому, что она нужна Богу, который ещё не родился. Он даже не спит в небе, а рождается из бытия. А бытие создано небытием, которое триипостасно в соответствии с природой небытия отрицающего. Рождается и шевелится бытие. Применив к себе свой принцип, небытие становится бытием.

Отчасти таково и апофатическое богословие. Оно утверждает, что Бог – вне бытия, потому что Он – его творец. Сначала был Он, и был в небытии, и, быть может, был сам небытием. И Он, обратив на самого себя свой принцип, освободился от себя самого и стал бытием. Или сотворил бытие. Апофатическое богословие, возможно, должно отрицать, что и после того, как бытие было сотворено, Бог остается за пределами бытия как его творец. Это всё возможные, почти архетипические начала, которые никогда по-настоящему не отменяют друг друга. Они отменяют друг друга только в

сознании верующего, когда его вера крепка. Но вот вера в ипостасность возвращает нас к мысли, что ипостасность нужна Богу, потому что в нас она нужна Богу, потому что ею Он – творец самого себя. Ею, нашей ипостасностью, он определяет и рождает своё сознание. И наше сознание есть его попытка себя осознать. Мы уже говорили себе: Он, Бог, есть, но он ещё не родился. Вот как это верование соотносится с другими вариантами веры? А если Бог сотворил бытие и был прежде него? И был прежде небытия? Нужна ему ипостасность сотворенного? Зачем она ему, если он сам ипостась себя самого, и его творение есть применение и проявление ипостасной возможности? Если это действительно так, то получается, что всем творением, которое отражает в себе, в своей сущности, ипостасность Бога, совершается его пресуществление. Или параллельное пресуществление. Он продолжает существовать внебытийно, но в бытии он пресуществляется ипостасностью природы и человека, сознание его. Так вот это пресуществление нужно для того, чтобы в итоге Бог возвратился к себе самому не только в своём в небытийном существовании, но и в бытийном проявлении, где он как бы вновь рождает себя и таким образом себя осознаёт.

Получается некий аналог абсолютной идеи Гегеля. Что-то в этом роде, что-то подобное – основа: религиозная, философская и художественная основа «Махабхараты», где герои-пандавы в итоге оказываются богами, какими они были изначально. И вот пройдя все этапы пресуществления, став людьми, героями, они в итоге возвращаются к себе самим в царство богов. Этот сюжет, и в самом деле, напоминает сюжет гегелевской философии. Но там вместо Бога абсолютная идея. И получается, что с точки зрения ипостасной веры нечто подобное происходит и со всеми мировыми религиями. Но опять же, с точки зрения того, кто верует в ипостасность как движущее начало, начало творящее. Кто-то может полагать, что оно и есть божество. А кто-то может вполне логично утверждать, что оно есть проявление божества. «Хаоса бытность довременну, /Из бездн Ты вечности возвал, /А вечность, прежде век рождённу, /В себе самом Ты основал. /Себя Собою составляя, /Собою из себя сияя, /Ты свет, откуда свет истек». Эта строфа из оды Державина «Бог», которую я бесчисленное число раз произносил, истолковывал, не только в лекциях о Державине. Вообще во всех случаях, когда надо было обратиться к первоначалу. Но дело в том, что

Гете в начале 800-ых годов, ну где-то в 800-е годы, можно уточнить, создал «Пролог на небесах».

И начал он его не только гимном Богу, который произносят архангелы: «Мир прекрасен, как в первый день творения. /Безмерна Слава божьих дел». Не только гимн этому творческому началу, но гимн и самому творцу, который появляется как персонаж. В шутку, не в шутку, как поэтическая условность, разыгрывая, с оглядкой на книгу Иова, с Мефистофелем, Противоречащим, душу Фауста. Душу и судьбу его. Но он является как некий персонаж. И тем самым поправляет Гете своего «Прометея» и свой отрывок «Природа». Где нет ни слова о Боге, а Богом оказывается сама природа. Позднее Гете, именно, видимо, с этой точки зрения, высказывался насчёт того, что он не был автором этого отрывка, но что отрывок этот передаёт его мысли в то время, когда он был создан – в начале восьмидесятых годов 18 столетия. Ему нужно было поправить себя самого именно внесением Бога в трагедию «Фауст».

И таким образом была внесена поправка и в перевод «Евангелия от Иоанна», который делает в одной из начальных сцен первой части «Фауста» герой трагедии. Когда он пытается перевести «Евангелие» и от формулировки «в начале было слово» приходит к окончательной для себя в то время формулировке «в начале было дело». Здесь тоже нет мысли о Боге. Хотя в той же сцене, когда приведённый в кабинет пудель оказывается Мефистофелем, перед тем, как он развоплощается и становится чёртом Фауста, он заклинает его, в том числе и триипостасным Богом. И именно это заклятие заставляет Мефистофеля развоплотиться из пуделя и в какой-то мере, хотя и по своему желанию, подчиниться воле героя трагедии. Так что идея персонального триипостасного Бога существует. Существует не только в этой сцене, но и в самой первой сцене, где попытка уйти из жизни, выпить чашу с ядом прерывается хором воскресенья, хором ангелов. Как там вот: «До основы мир преображается силою святого слова его, сна гробового, сердца любого, с мира всего».

Воскресенье есть ипостасное воскресение Христа. Так что нельзя сказать, что эта идея, этот мотив, этот персонаж отсутствует уже в первой части «Фауста». Там идёт некое боренье этих двух вариантов: религиозно-философского макро- и микрокосмоса. Кстати, образ духа земли в первой части и созерцание земной сущности бытия и макрокосмической сути, где



всё так слаженно и всё так гармонично, и так непостижимо, где всё ставит человеческое сознание в положение зрителя, но не участника, настолько оно грандиозно и неохватно, – там, в этих попытках заклинать макрокосмос и микрокосмос, тоже, вроде бы, Бог отсутствует. Видимо, это боренье между персональным представлением о Боге и природным первоначалом для Гете было и существенно и несущественно. Ещё немного, и он мог бы сказать, что эти два верования ипостасны по отношению друг к другу. Непостижимость этого вопроса, непостижимость в боренье этих двух верований свидетельствуют о том, что это противопоставление, это противостояние несущественны для человека. Оно лишь свидетельствует о непостижимости или временной непостижимости первоначал бытия и небытия. Да, мы пока не можем логически свести одно с другим. Здесь возможно только ипостасное соотношение, которое, не только по-гегелевски, чисто логически, связывает противоположности, но и сверхлогически. Именно ипостасно утверждает их связь. И таким образом, опять и совершенно, вроде бы, неожиданно, мы возвращаемся к этой идее ипостасности как универсальной тайны, как того, что возносит к себе человеческое сознание. Но при этом неплохо бы вспомнить, что всё-таки окончательный мистический хор трагедии, где говорится о той сфере воплощения всей истины, там гениально внесена тема, идея, образность вечной женственности. Да, вечной женственности.

Так как соотносится вечная женственность и ипостасность? Нет ли между ними той ипостасной связи, которую мы уже обговаривали в этих медитациях-беседах по утрам. Здесь есть несовпадение. Все-таки нельзя не чувствовать разницу. Но нельзя и запретить себе почувствовать сродство. Вечная женственность оказывается особым проявлением неохватного, необъятного и непостижимого таинства ипостасности. Не побоюсь сказать, одним из его проявлений. «Здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней». Вечная женственность – любовь, творящая жизнь. Это человеческое. Но именно оно возносит к той сфере, где «заповеданность истины всей». А эта заповеданность всей истины это и есть заповеданность ипостасности.

... Нет, все-таки нужно себя поправить. Для Гете весьма существенно персональное и натурфилософское понимание божества. Уже в первой части «Фауста». Это совершенно очевидно. Дух земли напоминает Фаусту о Боге. Я

почему-то не сразу это заметил. А это очевидно. «Я в буре деяний, /В вечной борьбе, /Всегда, везде... /Я – океан /И зыбь развитья, /И ткацкий стан /С волшебной нитью, /Где, времени кинув сквозную канву, /Живую одежду я тку божеству». Итак, вот Дух земли являет Бога. Вся жизнь, всё бытие – живая одежда божества, то есть Бога. Ну и сам Мефистофель – своего рода посланник Божий. Божий ангел, посланный Фаусту. Причем, Божий ангел, который сам – враг Бога. Но на деле осуществляет его волю. Самим фактом своего явления, своей связи с Фаустом, он утверждает Божье существование. Но самое важное – это образ Гретхен, который составляет сущность всей первой части трагедии. Во второй части уже нет такого, сюжетно и психологически проходящего от начала и до конца, образа. А здесь всё связано с ней. Она и есть та вечная женственность. Нельзя сказать – живая одежда Божества. Она сама есть воплощение Божества. И вместе с тем, она – пленительный образ, чистый и способный любить, несущий в себе всю правду и всё обаяние любви, души человеческой. Она есть главное, непреходящее для Фауста, его испытание. Он вынужден, поблуждав по разным мирам, вернуться к ней, к своей Гретхен в заключительной сцене второй части «Фауста». Там бессмертная часть Фауста соединяется с бессмертной душой Гретхен.

Но и в первой части всё одухотворено и освящено этой темой. Гретхен наивно и искренно верует. Она чувствует в Мефистофеле врага. Она заводит с Фаустом разговор о Боге, о том, верует он или нет. Если сопоставить две сцены, два монолога Гретхен: её песня, исполненная земной страстной любви («Ушел мой покой. /Никогда, никогда я /Не найду его снова. /Прижаться, руками обвить. /Я б всё позабыла с ним наедине, /Хотя б это было погибелью мне»), вот эта песня, и её молитва к деве Марии, Богородице, которая тоже женственность, Божественная и вечная. А последняя сцена первой части: безумная Гретхен в тюрьме. При всех страшных преступлениях, которые совершены во имя любви, она несет в себе чистоту и незапятнанность души. И этого грешного Фауста, этого виновника её трагедии, она временно не узнаёт с тем, чтобы потом, уже в том, запредельном, мире, вновь его встретить и спасти. Здесь она его не узнаёт. И здесь Мефистофель, пытающийся восторжествовать над этой душой («она навек погибла»), поражён божьим гласом с неба: «Спасена». И

всё же последний возглас Гретхен – это имя Фауста: «Генрих, Генрих». Любовь. Нет, для Гете это очень существенно.

Но эта существенность не снимает всего фаустовского пути к правде и истине, к тому, что заповедано. И вот оказывается, что одно из величайших и глубочайших проявлений ипостасности это человеческая любовь. Но любовь, вознесенная в эту сферу ипостасности. Любовь, неосознанно осознающая себя частью великой ипостасной неразрывности с Богом, с миром. Это Гете удалось. В этом смысле, конечно, любовь побеждает смерть у Гете. Но побеждая смерть, любовь осознается всем смыслом великой трагедии как проявление ипостасной правды, творческой, связующей всё непостижимой особой связью. Это уже не живая одежда Божества, которую творит Дух земли. Это само Божество, которое живёт и в Духе земли, и в макрокосмосе, и в судьбе грешного и великого Фауста. И в моей судьбе.

### 13 февраля 2020

«Меня могила не страшит. /Там, говорят, страданье спит /В холодной вечной тишине. /Но с жизнью жаль расстаться мне». Так сказать мог только гений. В поэме «Мцыри» множество таких сочетаний, прекрасные формулы («страданье спит в холодной вечной тишине») и простых, почти разговорных, вырвавшихся помимо всех прекрасных формул, словах. «С жизнью жаль расстаться мне» – тут весь Лермонтов в его цельности, его естественных внутренних противоречиях, характерных для времени, преображенных в творчестве гения и потому сохранивших свой смысл, свою силу для будущего, вечных в поэзии. Врубель разгадал Лермонтова. Может быть, даже не всего. Но самое главное, самое для него существенное. И страшное в своем величии.

Так получилось, что я узнал Лермонтова в детстве, в 6 лет, неотрывно от Врубеля. Отец приносил из библиотеки, это было в Киргизии, в эвакуации, приносил из библиотеки книги. Вот я сейчас вспоминаю благодарно – что именно он приносил. Он принёс золотой однотомник Пушкина, по которому он сухой кистью делал портрет поэта. Там, в самом начале был вклеен портрет, по которому отец сделал свое воспроизведение, заказ. Он принёс «Дон Кихота» – большой том, в изложении для детей, но с рисунками Доре. Он принёс томик Лермонтова, хорошо изданный, по-моему, Андрониковым

– с таким богатством иллюстраций, что можно было утонуть в этом мире. Тем более, что кавказские пейзажи так напоминали киргизский пейзаж у подножия Тянь-Шаня. И там был великолепный подбор иллюстраций и картин Врубеля, навеянных лермонтовской темой. Там было всё. И «Герой нашего времени», и, конечно, «Демон», и другие иллюстрации к другим его произведениям. На сон грядущий папа читал вслух Лермонтова, а я слушал его голос и видел иллюстрации в раскрытой книге, которую папа держал перед собой. Это всё было в полутьме комнаты, горел искусственный, сделанный искусно, сделанный отцом фонарик со свечой внутри. За окном была абсолютная, кромешная тьма, в которой ещё темнее вставали тянь-шаньские очертания. И вот слушать и видеть это в 6 лет, и кое-что знать о поэте по рассказам отца и моей мамы. Но ведь я и читать научился по этой книге. Она стоит у меня на полке. И там Врубель и Лермонтов сошлись, побратались.

И я так с самых первых дней моего знакомства с Лермонтовым не отличал их друг от друга, поэта и художника. Сейчас я сказал бы, что Врубель во многом ипостасен Лермонтову. Той особой, близкой, мотивно близкой ипостасностью, которая особенно мучительна и прекрасна своей точностью, своей определенностью. Но которая, конечно, не исчерпывает все возможные проявления ипостасности в других формах, формах контрастных, формах противопоставления. Здесь тоже есть некое противопоставление, ибо Лермонтов был введён Врубелем в прекрасный и страшный мир Серебряного века, где, казалось бы, восторжествовали все попытки добраться до первопричин непознаваемого и страшного бытия. Все попытки преодолеть этот страх воображением, религиозным верованием, религиозным бунтом. Серебряный век родил все остальные катаклизмы, противоречия и героические свершения 20 столетия.

И таким образом Лермонтов оказался моим современником, тем более в Киргизии оказался, после блокадной зимы. И я был современником чудовищной страшной войны и видел тыловое проявление этой войны: невозможная, неопишущая нищета, бандитизм в посёлке, где жили мы в доме молодого атамана шайки воровской. Которая не только совершала кражи, но и убийства. И всё это, повторяю, у подножия Тянь-Шаня, и всё это не только моими глазами, но и глазами отца, который видел красоту этой страны. И воссоздавал именно красоту её, в большей мере, чем всё

остальное. Так выражалась знакомая мне мечта о мире, о победе. Победа ещё не свершилась, это был 42 год. И тем не менее, страна жила этой надеждой и верой в победу. Вера была, я могу свидетельствовать. Но вера, конечно, особая. Здесь было и ожидание, здесь была надежда. Здесь было знакомство с той страшной судьбой истории, которая коснулась каждого и постигла всю страну. И все это знали, чувствовали и, веря в победу, признавались себе в том, что она ещё далеко. Вот в этот прекрасный, полный контрастов мир Врубель в книге, которую я перед сном видел и слушал и по которой выучился потом читать, вот в этот мир был введен Лермонтов. И ввёл его Врубель. Помню, Толик, мой ровесник, хозяйский сын, Шурик Кожухов, тоже ровесник, но из соседней мазанки, рассматривали долго, много раз. И постепенно не только я, но и ребята выучились читать по этой книге.

И вот сейчас я невольно думаю о том, как же на меня повлиял этот мир гения. Мир, полный красоты, страшный, беспощадный. Мир, полный страданий, тоски, ожидания. И мир, готовый к тому, чтобы заявить и воплотить свою волю к победе. Хотя всё то, что я видел вокруг, было так далеко от блокадного Ленинграда. Но я соотносил нищету посёлка и ужасную картину и впечатления блокадной зимы. Первой блокадной зимы, которую пришлось пережить. Это всё были исключительные условия. И они для меня были созвучны именно с Лермонтовым. Лермонтов давал язык для выражения каких-то своих чувств, впечатлений. Для каких-то попыток творчества. Первые мои строчки, которые я услышал во сне, они были сказаны неким таинственным голосом и сразу разбудили меня. Я их запомнил. И утром они были записаны с помощью мамы. Строчки эти: «Зачем бесчувственных рабов в стране так много накопилось», строчки, конечно, навеянные Лермонтовым, но все-таки мои. Вот всё то, что я видел вокруг, всё, что я переживал сам, всё, что я помню, всё это было созвучно поэту.

Да и вообще само представление о поэте для меня было неотрывно от Лермонтова, от его образа. Были в этой книге, разумеется, и все портреты поэта. Посчастливилось даже во Фрунзе, куда мы иногда приезжали по делам, в основном, мама меня возила туда, посчастливилось там попасть в кино, которое так и называлось «Лермонтов». Игровое кино о жизни и смерти поэта. С каким волнением я увидел бы его сейчас. Я помню многие

кадры. Первым – оказывался живым, движущимся. Мы играли в Лермонтова с ребятами. Меня отдали зачем-то в детский сад, видимо, для того, чтобы подкормить немного, и там мы играли в Лермонтова. Туда я попросил воспитательницу разрешения принести эту же книгу, которая сейчас передо мной. И мы с малышкой и с моими ровесниками читали и рассматривали эту книгу. И всё это тоже было у подножья Тянь-Шаня, моего Кавказа. Так вот, как этот мир повлиял на меня? Ведь вот Лермонтов – поэт контрастов, поэт противопоставления. И оно так естественно было в те дни (мы прожили там, в Киргизии, несколько лет, до 44 года), так естественно было противопоставить свет и тень. И самая противоположность, которая гармонично соотносилась у Пушкина, а Пушкина я всё равно признавал тогда, в 6 лет, ещё бóльшим поэтом, чем Лермонтов. А у автора «Демона» всё было на контрастах. И те особые лермонтовские формулы строились как раз на остром противопоставлении одного другому: «Была без радости любовь, /Разлука будет без печали». Так же строились и сюжеты, так же вырисовывались характеры. Врубель, правда, не был просто художником контрастов. Врубель как будто специально погружал во тьму, в сумрак, несказанное богатство приглушенных красок того трагического, теневого, демонического мира, который он создавал.

Так как всё это соотносится сейчас в моей душе с моей ипостасной верой? Не так просто было выбраться из этого сумрачного и роскошного по краскам мира – поэта и художника. Казалось бы, и тот, и другой, в особенности, Врубель, простились с верой и надеждой, и с любовью, которые возносили душу в тот самый мир, где уже страдание не спит в холодной вечной тишине, а разрешается, смывается слезами и молитвой, причастием к правде, к Божьей красоте. Казалось бы, они всматривались в тот сумрак, который создавало слово, начертание, черно-белые репродукции картин Врубеля, картин и рисунков. Но на самом деле, и тот, и другой были проникнуты и верой, и надеждой. Разумеется, не пользуясь этим моим термином ипостасность, они воспринимали тень как некое проявление мира, где есть свет. И Лермонтов именно так строил, воображал и творил сюжет «Демона», прошедший через всю его жизнь. И не только потому, что Демон полюбил одно из Божьих творений, а потому что самая вражда с Богом («Все, что пред собой он видел, /Он презирал иль ненавидел»), сама сила этой вражды, непримиримость – всё это говорило о том, что есть иной мир.

И больше того, всё это говорило о том, что страдание – не наслаждение этим мраком и враждой – а страдание, которое вызвано ими, что всё это найдёт прощение, награду, неожиданное разрешение в мире света, любви, подлинной земной красоты, которая отражает Божью правду.

Вот почему Демон у него показан таким, враждебно восторженным созерцателем этого прекрасного мира. И вот почему он нашёл образ, который вбирал в себя всю эту красоту, являл её как красоту человеческую. Как то, что не может не вызвать любви. «И ароматною росой всегда увлажненные ночи и звёзды яркие, как очи, как взор грузинки молодой». И так я жил под впечатлением, может быть, не до конца ещё понятого, а, вернее, точно и глубоко пережитого: и Лермонтова, и Врубеля. Но и, конечно, то, что писал отец, его этюды, его эти небольшие карандашные, акварельные и маслом сотворенные шедевры – они тоже внушали мне то особое чувство, которое так для меня прекрасно и страшно было воплощено словами Лермонтова, красками Врубеля. Красками во многом воображенными, потому что в книге репродукции были чёрно-белые. И так, вот он предстал передо мной, как ипостась Пушкина, после смерти поэта. Именно ипостась, не похожая во многом на своего предшественника. Но ипостасно осознавшего такой ипостасью себя. Лермонтова я всей душой принял и понял, как совершается этот переход от одного к другому. А Врубель открывал новые возможности таких переходов, таких волшебных пресуществлений.

И вся жизнь, окружавшая меня, и длившаяся война, и не скорая еще победа – всё это в душе создавало то особое чувство, которое я и назвал в итоге ипостасностью. Не подражать, а смело говорить то, что хочется сказать, то, что просится из души, сказать смело. Это и означало родственную близость с теми, кому так хотелось бы подражать. Чем смелее и полнее говоришь от своего имени и говоришь то, что хочешь сказать, то, что вынужден сказать, тем больше включаешься в то, что я сейчас называю ипостасным рядом. И вот, вспоминая слова исповеди Мцыри, я сейчас с новым, небывалым для меня прежде смыслом соотношу строки умирающего юноши «Меня могила не страшит. /Там, говорят, страданье спит /В холодной вечной тишине. /Но с жизнью жаль расстаться мне». Как точно здесь всё сказано. Страдание не умирает, спит, как будто, готовое к пробуждению. Оно и переживает пробуждение, вновь рождение, когда наступит иная ипостась.

Она ждёт этого вновь рождения, как ждёт его поэт в стихотворении «Выхожу один я на дорогу»: «Я б желал навеки так заснуть». До сих пор не могли разгадать, по-разному разгадывая этот мотив сна, который не есть смерть и который вбирает всю красоту живого, цветущего, напоенного любовью, полного богатырских сил мира, вечно живого: «Надо мной чтоб, вечно зеленея, дуб склонялся и шумел». Здесь нет той тишины, в которой спит страдание. Страдание спит, но оно внимает голос, поющий о любви, слышит шум листьев и ждёт вновь рождения, ждёт пробуждения. И потому в этом стихотворении уже нет формулы: «с жизнью жаль расстаться мне». Вместе с тем, формула «Я ищу свободы и покоя» – это формула поисков жизни. Свобода и покой.

Как соотносятся покой и свобода? Сколько об этом сказано. А их контрастное, казалось бы, по-лермонтовски контрастное соединение, на самом деле – ипостасно. Свобода и покой ипостаси – вот разгадка, которую мог бы дать Бог всем трагически, вроде бы, неразрешённым и неразрешимым вопросам Демона. Вот ответ умирающему Мцыри, который хочет уснуть там, откуда виден Кавказ. Там, где так прекрасна и так жива природа, и так хорошо не просто вообразить, а обнаружить рядом с собою милых и дорогих людей, услышать голос, который поет про милую сторону, почувствовать прикосновение руки, которая оттирает пот смерти со лба умирающего. И вот с мыслью о том, что всё это будет рядом, Мцыри готов умереть, никого не проклиная. Конечно, речь идёт об ипостасном единстве этого, казалось бы, неразрешимо контрастного лермонтовского мира. Вот что я почувствовал, не находя для этого точных, взрослых слов. Вот что я почувствовал тогда. И вот что я пронес через всю жизнь, приближаясь к тому рубежу, когда так и хочется воскликнуть «с жизнью жаль расстаться мне». И когда моя исповедь перед самим собою возвращает меня к спасительной вере в особое, божественно прекрасное родство с миром.

### 14 февраля 2020

У Пушкина «Сцена из Фауста». Там есть и Фауст, и пушкинский Мефистофель. И сама фаустовская тема, восходящая к Гете, созвучна, существенна для романа в стихах. Онегин, скучающий Онегин – продолжение, развитие, русское вновь рождение Фауста. И Пушкин



довершил, довёл до конца эту тему в романе и, вроде бы, простился с ней, расставшись с Онегиным. Но русская литература с ним не простилась. И вот является «Герой нашего времени», который наследует многое от пушкинского Онегина, а вместе с ним и от Фауста. И дальше вот герои нашей литературы. И герои Достоевского, и толстовский Андрей Болконский. Иными словами, тема Фауста не уходит. Но каждый раз у каждого из писателей так или иначе опровергается. А Мефистофель пушкинский, разумеется, сродни его Демону. Правда, там есть некоторые особенности. И Лермонтов, воспринявший тему Демона как центральную, конечно, внёс совершенно своё содержание в этот образ. У Пушкина: «Печальны были наши встречи, / Его улыбка, чудный взгляд. /Его язвительные речи/ Вливали в душу хладный яд. /Неистощимой клеветою /Он провиденье искушал./ Он звал прекрасное мечтою, /Он вдохновение презирал. /Не верил он любви, свободе, /На жизнь насмешливо глядел. /И ничего во всей природе/ Благословить он не хотел». Есть ли противопоставление ангела и демона в стихах Пушкина? «Не всё я в мире ненавидел, не всё я в мире презирал» – у Пушкина так.

У Лермонтова Демон – центральная тема. Вроде бы, её сменяет Мефистофель, тема Мефистофеля в поэме «Сказка для детей». Но прямой отклик на гетевского Фауста у Лермонтова отсутствует. Тут связь опосредованная, через Пушкина, посредством Пушкина. У Лермонтова, который переводил Гете, нет ничего подобного «Сцене из Фауста». Это любопытно. И лермонтовский Демон тоже отличается от пушкинского: «не верил он любви, свободе». А у Лермонтова: « Я царь познания и свободы». Тут же: «Я враг небес. Я зло природы», но царь познания и свободы. Во всяком случае, творение огромного смысла, поэма «Демон» ещё, мне кажется, нуждается в истолковании. И в мировой литературе, и в литературе русской это одна из вершин. И сейчас попытаюсь сформулировать черновую мысль о «Демоне». Как в первой части «Фауста» Гете любовь главного героя к Гретхен, которая приводит к греху, к преступлению во имя любви, и тем не менее не ввергает Гретхен, Маргариту в бездну Божьего проклятия, и тема Тамары у Лермонтова в «Демоне», конечно, перекликаются. А тема Тамары имеет некий опосредованный аналог и в предшествовавшем поэме пушкинском романе о Евгении Онегине – Татьяна. Здесь больше различий, чем сходства, но сходство есть. Во всяком случае, и в «Фаусте», и в «Евгении

Онегине», и в поэме «Демон» любовный сюжет как бы последовательно проходит через всё произведение. Это тема испытания Фауста и испытание Онегина, и Демона в лермонтовской поэме. В романе «Герой нашего времени» она во многом изменяется, варьируется по-особому. «Бэла», «Княжна Мери» – это не совсем то. Но тоже имеет некую родственность с этой большой темой. И везде оказывается, что она – испытание. Дальше она – испытание и у Гончарова – «Обломов», и у Тургенева – «Отцы и дети». Везде до неузнаваемости она изменяется и всё равно несёт в себе родственную связь с фаустовской сюжетной формулой.

Но черновая моя мысль заключена не в этом. Такого рода осторожные сопоставления вполне возможны. И если внимательно присмотреться, так или иначе возникали. Так или иначе, скорее иначе, чем так. Но моя-то черновая мысль в другом. В том, как именно в лермонтовской поэме раскрыта вот эта сложнейшая и глубинная, как ни у кого другого, тема соотношения Демона и Бога. Как-то мне приходилось говорить в одном из таких импровизационных размышлений вслух на каком-то из вечеров, посвященных Лермонтову, что поэма Лермонтова «Демон» это аналог державинского «Бога». И в ней, и в самом деле, рассказано о победе Бога в судьбе Демона, в истории его любви. Он перестает быть героем поэмы, когда кончается, приходит к самоотрицанию его любовь. Когда он в конце поэмы оказывается не тем, кто любит, а тем, кто владеет. Он ещё может отстранить ангела от Тамары словами «здесь больше нет твоей святыни, здесь я владею и люблю». Последнее же свидание с душой Тамары, которую ангел возносит к небу, видоизменяет эту формулу: «Она моя. Здесь я владею». И он выполняет здесь ту, казалось бы, предназначенную для него миссию испытателя, совратителя, искусителя, погубителя человеческой души. Но у Бога есть сила спасти Тамару. И душа её Демону не достается. Фауст Гёте не искушает Гретхен. Любит и томится тем, что любовь не заполняет всей его души. И не может ответить на все его фаустовские вопросы, обращённые не столько даже к Богу, сколько к себе самому. А у Лермонтова есть момент, когда Демон, отвечая ожиданиям, полным любви, трепетным ожиданиям Тамары, готов произнести своё отречение от себя самого: «хочу я с небом примириться, /Хочу любить, /Хочу молиться, /Хочу я верить добру». Он готов слезой раскаяния смыть на челе, достойном Тамары, «следы небесного огня». След Божьего гнева, которым он когда-то повергал в бездну

восставших ангелов. И тем не менее, в этом же монологе Демон остается верен себе. Его клятва незаметно, это гениально у Лермонтова, сменяется, перерождается в гордый вызов Богу. Он не приобщается к царству Божию, а творит для Тамары новое, другое царство: «будешь ты царицей мира, подруга вечная моя».

И это царство он пытается насытить всем тем, что он ревниво пытался отвоевать у Бога. «Я опущусь на дно морское, я полечу за облака, я дам тебе всё-всё земное». Погружение в бездну, вознесение в небо и вся красота земли между небом и бездной. Но все это в совсем особом, том, демоническом, противопоставленном божьему миру, свойстве, в том особом, собственно демоническом, его вызове. И кончается этот монолог: «люби меня», этими словами. Тем не менее, и исповедь Демона, и сама его любовь к Тамаре с самого начала («прежних братья вспоминая, он вздохнул бы»), кстати, связана не только с тем, что Демон испытал, когда увидел Тамару. Изначально в нём жила возможность так посмотреть на себя и на мир. «Прежних дней воспоминания перед ним кружились толпой». Когда он, чистый Серафим, был близок иному, Божьему царству и когда «комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним». Это имело некий космический масштаб у лермонтовского Демона. И вот он оказался земным, когда он увидел Тамару. И всё то, что он презирал и ненавидел, вдруг стало предметом любви. Тамара, воплощение красоты, прелести, правды земного Божьего творения.

Вот тут Лермонтов – гений. И гениальность его в том, что разрыв ипостасного единства с Богом, который и есть демоническое начало, проходит испытание. И Бог побеждает, но не может победить. Разрыв ипостасности с Богом был почти побежден любовью Демона к Тамаре. И в своей любви оставаясь соперником, ангелом, Богу самому, он становился божьей ипостасью. И всё-таки вынужден был невольно, по своей природе, по природе своего чувства, по природе своего демонического отступления от ипостасной правды, вернуться к себе самому: «и вновь остался он, надменный, один, как прежде, во Вселенной, без упования и любви». Вот почему поэма «Демон» это лермонтовский аналог «Богу» Державина. У Державина – ни Мефистофеля, ни Демона. У него есть успокоенное неверие и вот это внутреннее ипостасное противостояние проявлений человека: «я царь, я раб, я червь, я Бог». Отчасти Демон подает свой голос в оде «На

смерть Мещерского»: «Здесь персть твоя, а духа нет. /Где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем. /Мы только плачем и взываем: /«О, горе нам, рождённым в свет!» Тема эта потом по-своему ожила, раскрылась и развилась в нашей литературе Золотого века. У Державина нет персонифицированного, воплощенного в некоем особом образе, Демона и Мефистофеля. Но есть дерзновенное, полное любви, глубоко ипостасное сопоставление человека и Бога: «Я связь миров /Повсюду сущих (- повсюду сущих) /Я крайняя степень вещества. /Я средоточие живущих, /Черта начальна божества. /Я телом в прахе истлеваю, /Умом громам повелеваю. /Я царь, я раб, я червь, я Бог. /Сам собой я быть не мог... и дальше – /Твоей то правде нужно было, /Чтоб смертну бездну преходило /Моё бессмертно бытие. /Чтоб дух мой в смертность облачился, /И чтоб через смерть я возвратился, /Отец! в бессмертие твое».

У Пушкина Фауст в «Сцене из Фауста» не возвращается в бессмертие Бога, как это происходит у Гете во второй части «Фауста». Он завоевывает себе бессмертие целиком, поглощенное безнадежной скукой, которую Мефистофель может считать своей победой над ним. Хотя он не увлекает душу Фауста в своё царство. Вот эта заполненная скукой бесконечность и вечность – это и есть аналог ада. Это страшнее, чем ад. Фауст не возвращается в бессмертье Бога. Человек призван, позван Богом вернуться в это царство: «Твоей то правде нужно было, /Чтоб в смертну бездну преходило моё бессмертно бытие». Демон Лермонтова тоже не возвращается в царство Божие: «Вновь остался он надменный, /Один, как прежде, во Вселенной, /Без упования и любви». Но на этом и кончается поэма.

Она создана лишь потому, что в этом совершившемся, казалось, окончательном разрыве ипостасной связи с Богом, Демон всё же остаётся внутренне его, Бога, ипостасью. Остаётся своим страданием, своей надменностью, своей безлюбностью, «надежд погибших и страстей несокрушимый мавзолей». Его страдание есть ипостасное проявление близости к Богу. И так сильно и глубоко никто из русских гениев эту тему не раскрывал. Да и в мировой литературе мы не видим никакого аналога. Сюжетно – да, кое-что можно найти. А так, чтобы эта тема стала самой глубокой, самой исповедальной, самой мучительно открывающей человеку, сознанию – к бессмертному проявлению человеческого духа возможностью.

Такого аналога державинскому «Богу» нет ни у кого. И напрасно видеть в Лермонтове поэта сверхчеловечества, как это пытались в серебряном веке сделать. Он поэт человеческого начала, которое побеждает даже тогда, когда демоническая власть состоялась. Демон торжествует, но страдает. Вот почему он повержен. И Врубель точно воссоздал это состояние в одноимённой картине. Франческа да Римини и Паоло страдают, но они счастливы тем, что они вместе. И этот мотив в поэме «Демон» отражен, когда Тамара (правда, этот отрывок, этот фрагмент был исключён Лермонтовым, ну, по особым причинам) «а наказание? А муки ада?» – спрашивает Тамара Демона. Тот отвечает: «Так что ж, ты будешь там со мной». Это дантовский мотив. Речь идёт о муках ада, которые, на самом деле, для Франчески да Римини и Паоло были счастьем любви, состоявшейся и в том даже, загробном мире. «Когда бы нам был другом царь Вселенной, мы бы молились, чтоб тебя он спас, сочувственного к муке сокровенной». Это мука любви, которая в то же время счастье. «Любовь любить велящая любимым меня к нему так властно привлекла, что он со мной пребыл неразлучим». В загробном мире, видимо, осуждённые навсегда, до страшного суда, Франческа да Римини и Паоло, страдая, рыдая, вспоминая о лучших днях жизни в несчастье. «Тот страдает высшей мукой, кто радостные помнит времена в несчастье». Они в этом несчастье счастливы победившей любовью.

Мотив этот в поэме «Демон» есть. «Так что ж, ты будешь там со мной». К такому счастью зовет и Демон Тамару. И мы помним о варианте гениального описания Тамары в гробу, где мелькнул этот мотив, этот оттенок. «С небом гордая вражда». Она, казалось бы, осталась на мертвом лице Тамары. Лермонтов снял этот вариант, но он и не кончил ведь работу над своей главной поэмой. Она так и осталась завершённой, будучи не доведённой до конца. Будучи не завершаемой для поэта. Но вот такого счастья, счастья Франчески и Паоло, Демону не достаётся. Он остаётся один. Его страдание есть особое проявление его близости к Богу. Эта близость тем сильнее и тем глубже, чем страшнее и безнадежнее опрокинутая в вечность его боль и надменность. Итак, со всеми этими оглядками, со всеми поправками, какие могут быть, нет, вернее, учитывая все глубочайшее уникальное своеобразие лермонтовской темы Демона, мы можем сказать: Демон наделен ипостасностью с Богом в самом отрицании ипостасности.

Ибо её отрицание приносит ничем не утолимую муку страдания и невольное признание божьей правоты, ибо Тамара с ним разлучена, вознесена к Богу и обитает там, куда ему нет доступа. Но любовь всё равно, даже неутолённая, остаётся как мука, одиночество в душе Демона. Лермонтов это испытывал, он нес в своей душе демоническую муку и наделил этим своим лермонтовским трагическим чувством своего главного героя.

### 15 февраля 2020

Свобода от ипостасности. Возможна ли она и какой ценой? Оказывается, эта мысль, без использования термина ипостасность, его у меня не было тогда, в детстве, эта мысль, эта возможность тревожила меня всю жизнь. И потому, наверное, и сейчас вера в ипостасность связана с тем, что я её так или иначе, осознанно или неосознанно, всю жизнь отрицал. И меня влекли те поэты, писатели, которые так или иначе, дерзновенно, пытались нарушить этот закон. Или те, кто показывал, какой ценой он может быть нарушен. Вот почему одним из самых глубоких истолкователей этой проблемы и стал для меня Данте. Его ад и есть нарушение закона ипостасности, в страданиях и муках тех, кто это совершил, кто отважился на это, и кто был в силах совершить такое. Грех вообще есть нарушение ипостасности. А у Данте, как я позднее пытался определить это, грех был попыткой разорвать ипостасность с Христом. И вот мы видим в трехчастии «Божественной комедии», каков итог такого разрыва и какой ценой возможно преодоление этого греха. И как можно было бы определить состояние блаженного возврата к Христу.

Что это? Потеря свободы или обретение её подлинности и счастье освобождения от её греховности. Но греховность свободы есть иллюзия ложная свободы. Которая, тем не менее, становится судьбой, земной и загробной для грешников, о которых оставил нам память Данте. Получается так, что стремление освободиться от такой ипостасности существовало давно. И коль скоро есть сознание жизни, оно рискует на своих путях совершить этот грех. И вместе со всем этим ясно, что отпадения всё равно не происходит. Отпадение во грехе – страдание. Но вот Данте я узнал позднее, когда мне было 8 лет. А Лермонтова я принял всей душой своею в 6 лет. Настолько, насколько мог. А я мог принять его. Жизнь была полна таких

контрастов, таких страшных противоречий. И в тоже время она была так роскошна своей красотой, своей возможностью дать счастье, что это противоречие не могло не пробудить особую мысль о свободе. О свободе любой ценой, даже ценой греха и страдания. Но страдание не всегда было спутником греха. Оно посещало и безгрешных.

И как было со всем этим справиться детской душой? И вот именно тогда в детстве «Демон» стал для меня откровением. И оно уживалось рядом с откровением Евангелия, о котором я узнал от своей мамы. От моей мамы. И тогда я стал верующим, и верующим глубоко. Детская вера ничуть не менее глубока, чем моя взрослая вера и моя теперешняя вера, уже не каноническая, а своя. Вот как уживалось это в одной, сначала детской, потом отроческой и взрослеющей душе? А вместе с тем, это жило рядом, одно с другим, и взаимопроникало одно в другое. И рождалось из некоего не просто благостного, а по-детски счастливого чувства тождества, единства, которое я волен был нарушить и которое был властен душевно и духовно преодолеть, по своей воле, свободно. Таким образом, Троица, оказывается, формула ипостасной свободы. Чувство свободы порождено некой порождающей силой. Свобода воплощена в человеческом естестве, в котором она всё равно духовно побеждает и властвует. И в итоге эта духовно властительная сила предстаёт как истина, как познанная, испытанная свобода, как некий итог, который вновь возвращает к началу.

Формула Троицы и в самом деле есть формула свободы. И как раз вторая ипостась этого триипостасного единства включала в себя, вбирала в себя и порождала в себе вот это моё чувство свободы как нарушение ипостаси. Именно это чувство Лермонтов передавал во всей правде, красоте, мучительной, страшной, невыносимой силе страдания. Да, вот это я принимал. И самое трудное, хотя и естественное, хорошо предсказуемое ожидание – было преодоление этого разрыва, т.е. осознание этого состояния как части ипостасного триединства. Как только оно включено в это триединое ипостасное, как только оно оказывается его частью, так оно несет в себе возможность преодоления и в какой-то мере оправдывает себя. И вместе с тем, очень остро, до болезненности остро, ставит вопрос о греховности. О греховности и святости свободы, о некоем праве на греховность. Ибо в глубине по-настоящему ищущей души греховность есть повод к преодолению. Если только она не задерживает в себе, если только

она не прерывает это стремление к свободе. Грех не полная свобода. Грех – свобода недовершенная, свобода, остановленная на себе самой. Это так понятно, так близко мне сейчас. И так было точно предчувствовано благодаря Лермонтову. А потом благодаря Данте. Для меня в моих духовных детских и отроческих исканиях Данте был преемником Лермонтова. А Лермонтов предсказывал мне возможность этого дантовского ощущения, ожидания и переживания свободы.

А после Данте мне было открыто всё. Я был духовно вооружён, духовно испытан для проникновения в любой из миров. И, разумеется, в свой собственный. После смерти Миши, после его гибели это испытание было самым глубоким, самым непреодолимо и невыносимо тяжёлым, мучительным. При этом никакого сознания греха не было. Но было страшное ощущение, и оно остаётся в душе и сейчас, что через эту муку, через это невыносимое состояние души, только через него и можно прийти к настоящей свободе. Вновь родить возможность счастливого возврата к тому состоянию, которое было до этой гибели сына. И вот об этом все мои повести, посвященные Мише. И повесть «Один», и «Стерх», и «Ипостась», и «Апокалипсис», и поэма «Миша», которая живёт в начале этого ряда исповедальных погружений в самого себя. Этих безвинных страданий, которые давали возможность понять все остальные противоречия, несогласия и диссонансы окружающего меня бытия. Так я вышел, для себя не переставая страдать, к правде и святости духа. К тому состоянию души, которое и определяет возможность взаимоперехода, вновь рождения, возврата к началу. Там страдание, выраженное по-своему Лермонтовым, было предчувствием того, что выпадет мне. А теперь оно исполнено тех переживаний, насыщено тем опытом, который выпал мне и подарен мне моей судьбой. И теперь это состояние вполне моё. И вот ипостасное триединство я, по крайней мере я, могу применить к любому проявлению бытия. И откуда-то, за что-то получил право такого применения. Я не чувствую никакой своей вины, после которой и по следам которой я должен был переживать то, что было пережито. И то, что невозможно пережить всё равно. Я не знал вины, но то, что выпало мне, открыло вполне для меня всю формулу бытия и всю свободу его познания, его самопознания, его вновь рождения – и в его конечной и бесконечной правде. Другой формулы свободы для меня нет. И Лермонтов оказывается для меня, когда я



проникаю в его мир, моим первым Вергилием. Тем, кто предсказал мне мою судьбу и предсказал моё спасение на границе этой моей ипостаси.

### 16 февраля 2020

В книге Иова Противоречащий высказывается громко и сполна устами человека, которого Бог по договору с Противоречащим, сатаной, подверг испытаниям. Ради того, чтобы выяснить, любит ли бескорыстно человек своего Бога. Это глубокое, прошедшее через человеческое страдание, обнаружение себя самого сатаной, Противоречащим, содержится в Библии в Ветхом Завете. И оно встречает уважительное признание своей правоты Богом, в самом конце книги. Когда Бог признается в том, что никто из тех, кто беседовал с несчастным Иовом, не говорил о Боге столь верно, как сам Иов. Страдающий, бросающий в небо свои вопросы – за что он страдает? О договоре Бога с сатаной Иов не знает и поэтому спрашивает. И здесь ветхозаветный Бог признаёт правоту таких вопросов и великое значение этих страданий человека. Он возвращает Иову всё то, что было у него отнято, даёт ему других детей (и там приводятся даже почти комические имена этих детей), но меня уже в отроческие годы, когда я читал «Книгу Иова» впервые, пронзала глубоко мысль о том, что вновь данные Иову дети это не те дети, которых он потерял – когда Господь отдал его, Иова, во власть сатаны, и тот постепенно лишал Иова его земного счастья и его детей. Да, новые дети родились, но тех было уже не вернуть. Не так ли и мы относимся к своим ипостасям? И кто ипостась их, в которой мы живём? Явится новая, во времени. В пространстве мы уже видим, какой она может быть, в облике, в судьбе, в естестве наших братьев, ближних и дальних, которые, вполне по нашему образу и подобию, в чем-то хуже, в чём-то лучше нас. Да, мы это всё видим, это нам открыто и сполна явлено. Но мы не хотим потерять ту ипостась, в которой пребываем. И если мы мыслим, то не можем смириться с новой ипостасью ценою забвения той, которая сейчас.

Это очень рано запало мне в душу. И отсюда интерес не к сатане, не к демону, а к человеку, в котором демон зародил эту боль, тоску, эти вопросы, этот ропот. То, что Лермонтов выразил сполна. А до него отчасти намекнул на это своим поэтическим предчувствием Джон Милтон в поэме «Потерянный рай», где создан потрясающий образ сатаны. Там сатана не

только враждует с Богом, не только пытается ему отомстить, взяв реванш, соблазнив человека, но он чувствует красоту Божьего мира, он содрогается сам от муки и страдания, сознавая, что всё это он хочет разрушить. И то, что Милтон это сумел передать, делает его поэму совершенно гениальной. И никто так не пытался и не умел обозначить то чувство, которое Лермонтов передал сполна и, по сути, несмотря на Милтона, впервые в мировой литературе. У Байрона сатана в мистории «Каин» не испытывает любви к божьему миру. Он не потрясён красотой этого мира. И когда он приоткрывает Каину потусторонние тайны, свой ад, в котором пребывает, он, скорее, убивает любовь к жизни у героя, первого убийцы. Героя этой мистории. Но сам не выражает страдания, которое, конечно, родная сестра любви к миру, непреодоленной и непреодолимой. Неужели Лермонтов был заражён этим сугубо байроническим чувством и отношением сатаны к бытию?

Я тоже ставил себе эти вопросы в отроческие годы, когда погружался в такие состояния. Читая Милтона, книгу Иова и перечитывая, без конца перечитывая Лермонтова, который явился мне ещё в 6 лет. И, конечно, такие страшные стихи, как «Не верь себе» и «1 января», и «Дума». Но больше всего «И скучно и грустно»: «любить, но кого же? / на время – не стоит труда, / а вечно любить невозможно./ А жизнь, как посмотришь /с холодным вниманьем вокруг, /такая пустая и глупая шутка». Здесь нет любви к жизни, здесь нет потрясённости её красотой. Здесь даже нет желания задержаться в своей ипостаси, как я сказал бы сейчас своими словами с помощью моего, принятого мною термина. Наоборот, может быть. Желание расстаться с этой жизнью. Хотя в наброске, незаконченном, но сильном стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоскою» Лермонтов говорит о иных мирах.

Не смейся над моей пророческой тоскою.  
 Я знал: удар судьбы меня не обойдет;  
 Я знал, что голова, любимая тобою,  
 ...С твоей груди на плаху перейдёт;  
 Я говорил тебе: ни счастья, ни славы  
 Мне в мире не найти; настанет миг кровавый,  
 И я паду...

И там говорится:

Но я без страха жду довременный конец.  
 Давно пора мне мир увидеть новый;  
 Пускай толпа растопчет мой венец:  
 Венец певца – венец терновый!..  
 Пускай! я им не дорожил.

Итак, давно пора увидеть мир мне новый. И в стихотворении «Благодарность» то же чувство. Обращаясь к Богу, он говорит: «устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я ещё благодарил».

Это мучительное, но избранное человеком состояние проявления его свободы – неполнота ипостасного ощущения свободы. Неполнота ипостасной правды, когда сотворенное, обретшее плоть и кровь человеческого земного существования и переходящее в дух, становящееся духом чувство бытия, сознание бытия, вполне возвращает к признанию целостности ипостасной правды, этого непостижимого триединства. Да, в этих стихах, о которых я говорил, и в демоническом противостоянии Богу, которым обрывается одноименная поэма «Демон», там есть эта лермонтовская безысходная боль и тоска, которая, несомненно, есть свободная остановка человеческого духа на пути к полному ипостасному приятию мира. Это то состояние, когда, явно останавливая себя, явно ставя себе границы, человеческое сознание говорит о своей несостоявшейся обманутой любви к той ипостаси, в которой его дух пребывает сейчас. Это, наверно, и есть форма, особая форма глубокой, по-особому совершенно выраженной, любви. Любви обманутой, любви невзаимной, как в стихотворении «1 января». Мечта о детской влюблённости оказывается обманом: «когда ж, опомнившись, обман я сознаю, и шум людской толпы спугнет мечту мою».

Но обманутая любовь всё равно любовь. Лермонтов и этому нашёл свои формулы: «Так храм оставленный – все храм, кумир поверженный – все Бог». У Лермонтова это серьёзно. Отвергнутая, обманутая любовь – всё равно любовь. Но теперь она является как страдание. И как исполненная дерзости, бунта, предпочитания той ипостаси, которая должна смениться другой. Она будет дана, но она будет другой, оставаясь той же. И нежелание признать глубинную правду этого ипостасного соотношения, где иное является как то же самое. Иное является как возврат утраченного. А это утраченное предстаёт как небывалое, новое. Отказ от признания этой

правды, этого спасительного дара, который составляет природу бытия, есть форма любви к жизни, к миру, к тому, что ты утратил. Это было мне понятно. Это понятно мне и сейчас. Никто не вернет мне моего сына. Ну, в повестях, которые я ему посвятил, он ко мне приходит. И всё-таки он не остаётся и не может остаться. Он приходит с тем, чтобы уйти. Он приходится с тем, чтобы исчезнуть и даже осознать своё исчезновение. Как в повести «Стерх», когда он вдруг начинает пропадать, отец ищет его, но вместо него, того, кого он ощущал физически вернувшимся, он прикасается к стволам деревьев. И тепло его отцовской руки постепенно гаснет. И уходящий Миша тем несказанным чувством, которое присуще любви, любит и жалеет отца, от которого уходит. Я пытался тоже это передать. И чувство это от меня не уходит и живёт во мне. Но это чувство любви, которая всё равно, как бы она ни превращалась, какие бы пресуществления она ни переживала, остаётся любовью. И даже упрекаемый, призванный к ответу Иовом Бог не может не признать правоты этой любви.

... Мысль – ипостась чувства, рефлексия – ипостась жизни, эмоциям, полноты бытия. Эта проблема меня мучила все отроческие годы и позднее, в годы юности. Я сполна пережил это состояние. Тогда, помнится, очень любил, не то, что любил, испытывал потребность в том, чтобы читать статьи Белинского. Тогда я чуть было не остался на второй год в заочной школе из-за литературы, не так написал сочинение, не та была трактовка в годы борьба с космополитизмом. Сравнил «Горе от ума» с «Мизантропом» Мольера. И вот целое лето я, зная, что остаюсь на второй год (потом я всё-таки не остался на второй год, поступил в вечернюю школу в следующий класс, написал такое же сочинение, и всё прошло, меня после такого письменного экзамена приняли в девятый класс), но вот целое лето я занимался тем, что переводил анакреонтику. Вот этот поздний античный сборник анакреонтических песен. И целиком перевёл, причем, в двух вариантах. Ямбом, потом почувствовал, что это не совсем тот размер, и хореем, рифмованным, держа перед собой стихотворный перевод Мея и другие переводы, воображая, интуитивно пытаюсь передать оригинал. Были у меня и державинские анакреонтические песни. Я тогда и не думал, что буду писать диссертацию по анакреонтике Гаврилы Романыча.

Так вот, я занимался этим жизнеутверждающим, мудро весёлым творчеством подражания Анакреону. И среди этих подражаний, переводя

подлинно принадлежащие Анакреону оды, я читал Белинского и читал именно те страницы, связанные с творчеством Лермонтова, в первую очередь, конечно. Ну и цикл пушкинских статей. И статью, посвященную поэзии Майкова. В общем, очень внимательно читал трехтомник Белинского. И особенно те страницы, где говорилось о рефлексии, о том, что она есть признак определённого этапа в истории общества и в истории России, как-то соотносящегося в жизни отдельного человека с эпохой юности. Я сам переживал эти состояния, и Белинский точно, для меня их формулировал. Мысль заменяла чувство, анализ мешал действовать. Мне был тогда близок гамлетовский монолог, который я ещё недавно перевёл сам. «Существовать или не существовать». «Быть или не быть». Я так это переводил: существовать или не существовать. Вот там были строчки: «гаснет пламень сильной воли в нас, едва мы начинаем размышления». Но я это понимал иначе. Не применительно к тому, существовать или не существовать, а к тому, можно ли что-то делать, если не знаешь сущности того, что ты делаешь. Я тогда играл в шахматы, играл вроде бы неплохо. Но как-то я почувствовал, что не могу играть и увлекаться этой игрой, потому что не знаю, почему слон ходит на всю диагональ, а не на три клетки, как это было вначале. Я стал придумывать свои шахматы, со своими правилами. И то, что было мною придумано, вполне, казалось, логически было равноценно классическим шахматам. Но я чувствовал разницу и не мог понять, чем классическая игра лучше моих выдумок. А не поняв это, я не мог играть. Вернее, играл и думал. И думая, прекращал играть.

И так же было со стихами. Я не мог писать стихи, не поняв, правильно ли я пишу их или неправильно. И чем мой произвол в поэтических моих опытах, в творчестве, чем он менее достоин похвалы, чем по сравнению с классической настоящей поэзией. Ещё острее было то, что я вспоминал свою поэму «Фаэтон», о которой уже разговаривал сам с собою вот в этой нашей ежеутренней беседе. И там, мне казалось, что-то было достигнуто, и я не мог это повторить. Я чувствовал, что не могу так писать. А если не мог так писать, то я не мог писать. В общем, мне были понятны размышления Белинского на эту тему. Он в этом видел определённый знак времени. И тот самый знак, который определял время Лермонтова. И Лермонтов выразил это время. Как далек я был от мысли о том, что рефлексия ипостасна полноте бытия. Это одна из ипостасей. Тогда, помнится, я и обратил внимание на стихотворение

Клюшников «Я не люблю тебя». «Я не люблю тебя, но, полюбив другую, я презирал бы горько сам себя. И как безумный я и плачу, и тоскую. И всё о том, что не люблю тебя». Это мне было очень понятно. Но я не знал тогда, что такая тоска, именно такая и так, как она была у Клюшникова точно выражена, это и есть любовь. Это есть ипостась любви. Она горькая, она трагическая. Она воистину может казаться безысходной, безнадежно обреченной, но она именно такова, эта особая форма любви. Если бы я это знал тогда, я бы, может быть, излечился. А состояние моё, несмотря на Анакреона, было очень горьким, вполне безрадостным. Я не мог решить ни одного вопроса. А прежде, ещё недавно, у меня было принцип не ложиться спать, если я не решил нечто важное в этот день, если я не написал свои 20 строчек стихотворных (почему-то у меня была такая норма на день). А тут я ложился спать, не решив главные вопросы.

Мне был понятен изнутри и Печорин, и сам Лермонтов с его рефлектирующими медитациями и монологами. И вот я не знал, что это тоже любовь. Позднее, значительно позднее я увлёкся трактатом Шиллера о наивной и сентименталистской литературе. Лермонтов, конечно, знал его, читал. Позднее у меня была целая работа, связанная с этим трактатом. И вообще я неожиданно для себя, когда писал диссертацию о Державине, понял значение спора древних и новых, начавшегося ещё в 17 веке, продолжавшегося весь 18 век. А у нас, в нашей критике, очень популярного и острого в начале восьмисотых годов. Тогда же и выработались какие-то понятия о направлениях и о романтизме. И вот тогда трактат Шиллера о наивной и сентименталистской поэзии давал особую, гениально глубокую трактовку этой темы. Наивное это то, что я находил и в своем собственном опыте. Та же поэма «Фаэтон» была примером. Детская поэма, но несущая в себе некую гармонию, лишенная той рефлексии, которая пришла позднее. А потом явилась мысль, явился анализ, разъедающий всё, рефлексия. И вот я не могу даже не то что повторить, вот так же отдаться вдохновению, как я говорил самому себе тогда, в каком я пытался в отроческие годы писать своего «Фаэтона». Но Шиллер это своё рассуждение построил как некую разгадку мировой истории. Эпоха детства человечества. Мысль, многократно повторенная в споре древних и новых, давала вот эту целостность, лишенную разъедающей красоты рефлексии. Потом эпоха юности, когда идеалы и действительность оказались в нерасторжимом противостоянии друг другу,

непреодолимом противостоянии друг другу. Такого противостояния в эпоху детства сознаний, опыта людей, поколений, творцов искусства – не было. А тут оно возникало, и искусство потеряло природу, т.е. полноту действительности. Идеал оказался противостоящим реальности. И Шиллер связывал преодоление этого исторически неизбежного этапа развития культуры, противопоставлял, хотя прямо об этом не было сказано, эпохе зрелости, когда люди научатся достигать.

И очень многое будет достигнуто, и возникнет некая вторая природа, созданная человеком и равноценная миру идеала. Тогда идеал и действительность вновь сойдутся, действительность будет сближаться с идеалом, идеал воплощаться в реальности. И это будет эпоха зрелости. Было детство, была юность, будет и зрелость. И вот идиллия, когда из предельно типологических форм искусства, то есть те моменты реальности, где реальность и действительность сходятся, был прообраз искусства будущего. Но об этом написано было. Это мне помогло разобраться во многом. В творчестве Жуковского, которое было понято тоже под знаком идей Шиллера. Да они были достаточно признаны и распространены в критике и в сознании людей той эпохи. Вот, но к сожалению, когда я мучился этой проблемой, у меня не было опоры в понятии ипостасности, которая сводила эти противоречия. Они оставались, но они входили в систему ипостасных соотношений, которые ипостасно же и разрешаются.

Детство, юность и зрелость ипостасны. Они различаются, они противостоят друг другу. Но они несут в себе нечто, говорящее об исходной тождественности всех стремлений и попыток. В частности, и в творчестве. И вообще в мироотношении. Некое общее, некая тождественность, резкое противостояние в эпоху юности и вновь добытая гармония в эпоху зрелости. И зрелость предстоит. Ну, очень близко к этому истолкование Лермонтова Белинским, который применял свои знания и немецкой философии, и идей Шеллинга, и Гегеля. Я думаю, что и шиллеровские идеи были Белинскому знакомы. Он во многом наследовал опыт русского спора древних и новых, который позволил сформировать какое-то представление о романтизме как о направлении. И вывести всю систему литературных и в искусстве существовавших направлений. И классицизм был осознан таким образом, и реализм. Правда, без употребления этого термина «реализм». Он пришёл позднее. Истинный романтизм, как формулировал Пушкин, подлинный

романтизм. Но сам реализм, каким он мог предстать в системе Белинского, в системе Шиллера, употреблявшего термин «реалист». Он противопоставлял людей – идеалистов и реалистов. Гете был реалист. А он идеалист. Да и сам Гете в своей статье, поздней, уже 800х годов, в статье начала 19 века «Шекспир и без конца Шекспир» или «Шекспир и нет ему конца». Там он использовал идею Шиллера, развив её, переводя на другую терминологию, речь шла уже не о сентиментальной литературе в эпоху, характерную для эпохи юности, а о романтической литературе. Вот всё это, я чувствую сейчас, очень хорошо разъясняется, если применить тот же самый принцип ипостасности. Но он даст какое-то особое, гармоничное, органичное разрешение этой, казалось бы, неразрешимой проблемы. Во всяком случае, в моих исканиях, моих попытках, моих мучениях. Ничего себе! Нужно было ложиться спать, не решив какие-то важные проблемы, не найдя нужных строчек. Или, найдя их, быть не в состоянии объяснить, почему они настоящие и чем они отличаются от ненастоящих.

Это была не болезнь, это не было отступлением от правды, это не было просто этапом развития, это было неотъемлемой какой-то частью ипостасного единства, которое соотносило детство, юность, зрелость. И которое не утешало, а убеждало в том, что зрелость будет. Хотя ты можешь до неё и не дожить. Кто-то умирает, достигнув возраста, но оставшись ребёнком. Кто-то, и как правило, остаётся, чаще всего остаётся юношей. Вся история человечества сейчас это, во многом, юношеский этап. А эпоха зрелости в том шиллеровском понимании, которое можно было бы развить, ещё не достигнута. Но она возможна. Если взрослея не терять, не будешь терять этого органичного, природного, закономерно природного или природно закономерно принципа ипостасности соотношений. И вот Лермонтов очень интересно мог бы сейчас для меня раскрыться. Ну, я мог бы написать даже книгу о своём любимом поэте, о том поэте, который меня создал с шести лет, пронзил своим творчеством, своим особым отношением к миру, красотой своих образов, остротой своей трагедии всю мою душу. Благодаря которому, Лермонтову, я был молодым или маленьким старичком в детстве и в отрочестве. И я не жалею об этом. Я только удивляюсь, почему то, что сейчас так ясно и так радует душу, почему это не одарило меня прежде. И почему я не мог этого прочитать нигде: ни у Белинского, ни позднее у Гегеля. Почему я даже не смог, не успел, не открыл для себя



возможности прочитать трактат Шиллера и понять его по-своему, в том важном смысле, который разрешается этим трудно уловимым, логически очень не поддающимся анализу термином «ипостасность». А вот применительно к Лермонтову, к его эпохе, я ещё и ещё раз повторяю себе сейчас. Мысль, не просто становясь сложной, переходит в чувство, и чувство, не просто становясь сложным, разрешается мыслью. А это всё закономерности, вызванные одним: мысль и чувства ипостасны. Идеал ипостасен действительности. И рефлексия ипостасна юношеской полноте бытия. Да и не только юношеской. И вот так понятая, в контексте ипостасного истолкования, вот так понятая рефлексия сохранится и в зрелости, если зрелость когда-либо наступит не для отдельного человека, а для всех. Вот этой радующей душу мыслью я сегодня хотел бы завершить сегодняшний день. Если бы это было к вечеру, я мог бы спокойно лечь спать и забыться сном, сознавая, что я кое-что решил для себя.

### 17 февраля 2020

В юности ипостась рефлексии опережает ипостась опыта, если можно так сформулировать. И вот получается, что фаустовская формула – что было в начале – это трудно достижимой для юности путь к тому, чтобы в начале было дело. Вместо дела слово; вместо точного слова, которое есть дело, мысль; вместо верной и тоже предвещающей дело мысли – сила. И наконец, вместо всего этого, вместо всех этих предвестий в начале – дело. И вот выходит, что все варианты перевода Евангелия, которое по-своему для себя перетолковывал и переводил Фауст, ипостасны друг другу. И всё равно здесь есть градация, здесь есть предпочтение, здесь есть юношеские мечтания, конечно, о том, что труднее всего даётся – о деянии, о вере. Слово, мысль, сила легче достижимы, более доступны юношескому опыту. Мне всё это было знакомо, это меня мучило. Правда, я уже тогда знал, что после такой моей юности будет зрелость.

Я даже мог бы вспомнить мгновение, моменты, когда вдруг долгое и долгое искание верного слова, верной мысли, когда вдруг обнаруживаешь в себе повзрослевшую силу, становится делом. Державин, в совсем другом контексте и влагая совершенно другой смысл в эти слова, сказал однажды: «за слова меня пусть гложет, за дела сатирик читит». Пушкин уже, влагая в эту

формулу иной смысл, поспорил: «слова поэта уже его дела». А Гоголь сказал: «Пушкин прав». Но это всё надо было выстрадать. И несмотря на то, что дело увенчивает фаустовскую формулу, нужно было в юности достичь, наконец, таких состояний, когда и слово, и мысль, и сила становятся делом и оказываются в начале всего. И вот для меня Лермонтов был поэтом юности. А т.к. в юности задержался надолго, не хочу сказать навсегда, то он и был моим спутником, моим демоном и моим Вергилием по этому трехчастью бытия: ад, чистилище, рай. Он был тем искушителем, который уже разрешил это искушение в себе приятием, восторженным, восхищенным приятием Божьего мира. Любовным его приятием, когда «и верится, и плачется, и так легко легко» и когда наизусть твердишь «одну молитву чудную». Врубель тоже, но прежде всего как иллюстратор, интерпретатор Лермонтова, был моим спутником. И вот он совершенно неожиданно является в сугубо современном, даже более, чем современном, фантастическом завтрашнем мире. Является рядом с главным героем повести «Правитель», неожиданно для меня самого. Я и сейчас не очень разгадываю этого загадку, но чувствую, что загадка задана верно. Я знал о тех муках, которые выразил Врубель. Искраженным страданием облике и лице Демона. «Он хочет в страхе удалиться. Его крыло не шевелится». Одна из иллюстраций: Демон у монастырской стены. Его лицо искажено мукой.

Я помню, как в детстве это лицо заставило меня содрогнуться в первый раз. Да, мне было 6 лет. И я спросил маму, почему он так страшен. Но она мне ответила: нет, Демон не только страшен, но он красив особой демонической красотой, как она выразилась. Я стал её спрашивать, что такое демоническая красота. Почему-то именно её, а не отца. И она отвечала мне, объясняла мне. Наверно, очень точно и проникновенно. И так Врубель вместе с Лермонтовым стал моим спутником и собеседником. Но мне кажется, что я все-таки дожил до своей зрелости. Впрочем, так ли? Мой цикл прозы, посвященный Мише, это что? Это мир свершений, дел, когда дело в начале? Или это фантастический мир, где сначала силы, потом мысли, а потом слово в начале? И стало ли там слово делом? Не буду определять. Пусть кто-нибудь определит это. Но мне кажется, что (кажется, конечно), что слово иногда обретало у меня весомость зрелого опыта.

Может быть, просто наше время вновь ипостасно рождает новую совершенно лермонтовскую рефлексию? И я уже не читатель «Демона», а

тот, кто несет в душе его боль, страдания, его тоску, которая «то ластится как змей, то давит грудь как камень», ибо она мавзолеей надежд погибших, мавзолеей страсти, многих страстей. Нет, мне кажется, что это всё не совсем так. И не случайно получилось, что в этом разговоре с собою я не сразу заговорил о Лермонтове. А вот всматриваюсь сейчас в его лицо и его лик врубелевского Демона. Потому что таково наше время. Если Бог позволит, допустит, если захочет Бог, то в нашем разрушенном, временами антикультурном мире, родится вновь какая-то совсем иная рефлексия. И она будет ипостасью деяний, преодолений, страстей, чувств. Богатейшего, еще не известного нам, не постигаемого никаким воображением опыта. Я был бы счастлив, если хоть в какой-то мере действительно для меня это совершилось. Я был бы счастлив, если идиллические мгновения жизни, когда идеал и реальность, по Шиллеру, оказались созвучны гармонично, родственны друг другу. Если это переросло в идиллические мгновения и если идиллия хоть в какой-то мере уравнивала элегию и преодолела сатиру.

Во всяком случае, что бы я ни делал, чем бы я ни занимался – Державиным или на своих уроках литературы, или на каких-то разговорах с собой во время лекций, когда удавалось найти, услышать, увидеть отклик на мои слова, я всегда был как бы внутри главного сюжета моей жизни. Которая берёт начало там, в сорок втором году ещё, 42-ом, 43-ем, там, после блокадной зимы в Киргизии. И можно было бы пересказать всю мою жизнь, начав с того, чем я сейчас кончаю. Но я, вместе с тем, чувствую возможность сделать еще чрезвычайно многое. Словом. Разумеется, словом, которое для меня так и осталось делом. Мне только нужно преодолеть то смертельное препятствие, которое встает на моём пути. Мне нужно победить моё нынешнее состояние. Я почему-то верю в чудо такого преодоления. Я всматриваюсь, вчитываюсь в страницы книг, которые стоят передо мною и стали почти недоступны мне, ибо я не могу читать. Но я всматриваюсь в эти страницы. И когда мне трудно прочитать, я придумываю, что здесь сказано и написано. И потом оказывается, что это верно, что написано именно так, как я придумал. И это уже не только воспоминание. Вдруг я вспоминаю, что я это читал, именно так читал, не это. Порой я прочно забываю. Надо что-то заново родить, создать. За Лермонтова, которого знаю наизусть. За Есенина, которого тоже наизусть помню. Правда, мне очень трудно, невозможно их

забыть. И я не забываю. Однако, всё равно эта возможность придумать, есенинское, кстати, выражение («Хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем»), это очень точное слово. Вот эта возможность придумать так, чтобы это было и воспоминанием, и словом, и мыслью, и памятью, и чем-то поверх всех этих ипостасных проявлений сознания души, иного, ещё не бывалого для меня опыта.

### 18 февраля 2020

Третья ипостась – Дух. Противоречащий мог бы сказать: «вот Дух приоритетен по отношению к Богу отцу и Богу сыну. Он на третьем месте, потому что он увенчивает творение бытия. Начиналось с того, что Дух Божий носился над водою, когда уже были сотворены небо и земля. На земле ничего не было – безвидна и пуста, а Дух Божий, носящийся над водою, был началом бытийного творения. Так вот, вполне исчерпав его богатство, его сюжеты, его тупики, его несовершенства, – говорит Противоречащий, – в итоге всего творение увеличивает Дух». У меня не было этих слов, этих формулировок, но я мучился этим вопросом в отрочестве и в юности.

Мне хотелось, чтобы вторая ипостась увенчала творение Божье. Дух Божий не просто возвращается к себе самому, а торжествует, властвует воплощением правды второй ипостаси. Если применить это к искусству, то именно вторая ипостась соприкасает искусство с природой, в том смысле, как её понимали ещё в 18 веке. Природа, то есть действительность, во всем ее объёме и в дополнение той второй природы, которую создаёт человек. И вот получается, что природа создана и вновь потеряна, ибо над нею воспарил Дух. Он носится теперь не над водою и не над безвидной и пустой землёю, а над всем богатством творения. Всё это говорит Противоречащий. И как всегда, он разрывает неразрывность ипостасного ряда. Сама сущность ипостасности – в творчестве, творении. И то, что Дух является третьим в этом ряду, означает, что он возвращает к началу. Вновь возвращает к творчеству, к Богу отцу. И вновь явится, казалось бы, утраченная, а на самом деле воскрешённая вторая ипостась: реальность, воплощенность, вечность.

И если бы я знал, что можно так сказать, может быть, я сделал бы больше, чем сделал. Так получалось, что жизнь была насыщена попытками творчества. И столько было неудачного, отброшенного, столько было такого,

что хотелось отбросить и вернуться к началу, вновь творить. Так вот, может быть, если бы я знал что Дух это не просто взаимопереходность. Взаимопереходность возврата к началу. Взаимопереходность к сотворению бытия. Может быть, если бы я так думал, если бы меня одарила так мысль и вера, то я и как исследователь поэзии и искусства слова, и как тот, кто верует, и как тот, кто творит, почувствовал бы правду возврата к себе самому. Возврата, еще более обогащающего опыт. Ибо всё то, что утрачено, всё то, что уступило духу, вновь возвращается в новом естестве, не утратившим в себе всё то, что никак нельзя отбросить, никак нельзя принести в жертву ради торжества духа. История очень многое сбрасывает. Есенин был поэтом редким, почти исключительным. Первая природа царит в его благоуханной, красочной песне: «Остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук». Но вот эту красоту, эту полноту бытия, казалось бы, у него отнимала история. Смешно вспоминать, но это далеко не смешно было в реальности. Каменное и стальное должно было заместить органику первой природы. «И невольню в море хлеба / Рвется образ с языка: Отелившееся небо / Лижет красного тёлка». Вот, казалось бы, вторая природа, которую пытался петь Маяковский и которую он противопоставлял первой природе, у того же Маяковского обретало живые черты: «Истомившимися по ласке губами / Тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая».

Здесь Маяковский и Есенин говорят почти на одном языке: «Скрипка, давайте будем жить вместе, а?» Возврат, возврат к творчеству, к творению, к вновь рождению бытия. Пусть в поэзии, пусть в искусстве слова. Но это прообраз будущего, это блики будущего в настоящем, где вторая природа, каменное и стальное, рефлексия, всё то, что создано человеком. Это ипостась в будущем. Это не та модель, ради которой существует бытие. Ипостась того, что восторгается в новом, вновь осуществленном акте творения. Итак, Противоречащий, вроде бы, вновь посрамлен. Но он продолжает настаивать на своём: всё же Бог Дух Святой увенчивает Триаду. Таким образом, дух возвращается к духу, а акт творения лишь проявление духовного, лишь временное его инобытие. Ну конечно, если противоречить, при этом упираясь в тупик и безысходность, то можно разрушать триединство такими попытками. Но на самом деле, сущность этой триады в ее вечном возврате к себе самой. Не просто в равноправии трех проявлений Бога, трех его ипостасей, а в чуде возвращения второй ипостаси, ради

которой существует и Бог отец, и Бог Святой Дух. И при этом вторая ипостась не заменяет и не отменяет и первую, и третью. Как жаль, что эта медитация не посетила меня в отроческие годы. И я и в самом деле сделал бы больше. Но постараюсь ещё кое-что сделать. Как хорошо, как легко становится на душе. И верится, и плачется.

### 19 февраля 2020

Формула творчества: замысел, ощущение возможности сотворить, признание в себе творческой способности – это первое. Второе – само творение, то, что ты сотворил. Оно, конечно, осуществляет замысел, предчувствие. Оно, конечно, отвечает этому ощущению к способности к творчеству. Но оно уже, то, что сотворено, несёт в себе некую неожиданность. Оно удивляет какими-то такими свойствами, которые ты, при всей возможности предвидеть, не смог угадать. И вот они сейчас для тебя загадка и тайна. Тайна требует разрешения. Так наступает третье – смысл сотворенного; по возможности, раскрытие этой тайны, которая возвращает опять чувство, предчувствие, замысел, возможности сотворить нечто новое, не то, что было сотворено. Эта совершенно естественная простая формула ипостасна внутри себя. Замысел не разрешился бы творением, если бы то, что будет создано, не поразит какими-то новыми свойствами и не явит новую загадку, неожиданную для тебя. Ты решаешь эту загадку. Ты её разгадываешь, насколько возможно, и тут же возникает новый замысел. Потому что, как Гете определил, решение проблемы есть новая проблема. Вот такая простая, внутри себя ипостасная формула – аналог, отблеск, а может быть, и адекват Троице. Творением оказывается не только человек, но само бытие. Оно сотворено неким замыслом, неким предчувствием, некой способностью сотворить. Перефразируя Державина, тем, что мы называем Богом. И вот оно, это сотворенное, бытие, продолжающееся, существующее, имеющее не только прошлое, настоящее, но и будущее, оно, это творение – загадка загадок, тайна тайн для самого творца. Для того, кого мы называем Богом. Хотя, как будто, для него нет ничего скрытого. Но если бы действительно так было, ему незачем было бы творить. Он сразу ограничил бы себя тем, что явил себя себе самому, как третья ипостась.

На самом деле, это не так. Всё сотворенное, всё, что мы называем бытием – неразгаданная загадка, нераскрытая тайна тайн. По моей версии, не раскрытая для самого Бога творца. Она для него не раскрыта и потому требует раскрытия. И мы, люди, есть попытка Бога раскрыть суть того, что он сотворил. Творческая попытка, но уже выходящая за пределы творчества как третья ипостась единой творческой способности, единого сотворения того, что способность обещала, и глубинного прояснения всего сотворенного бытия, которое становится новым замыслом. Кажется, так просто, и, наверно, уже миллион раз, если не больше, такая триада осознавалась. Но осознаваемая как ряд последовательных состояний, она не может быть осознана как единое, ипостасное в самом себе таинство, как высшее проявление, достойное третьей ипостаси – Духа Святого. Всё равно человек оказывается в центре. Он и есть не просто венец творения, а то, что представляет творение как таковое. Его совершённое, по возможности совершенное, но таинственное для себя самого осуществление, требующее духовного осмысления и самораскрытия.

Если применить эту триаду, (возможно, она упрощённая, потому что моя), если её применить к моей жизни, то очень многое будет объяснено. Прежде всего, будет объяснена неизбежность нераскрытости тайны тайн второй ипостаси. Творчество продолжается, да и само сотворенное бытие оказывается ипостасью в ряду двух других ипостасей: способности к творчеству и осмыслению того, что сотворено. Попробую проверить эту формулу сейчас, когда неужели и в самом существе своём для меня наступает момент третьей ипостаси? Не как предположение, не как та сила, которая творит несотворенное, а как та естественная ипостасная воля к тому, чтобы объяснить то, что сотворено, и стать перед новым замыслом, перед новой ипостасью. И не известно, как она будет названа, когда осуществится, и кем она будет названа, от кого получит своё название, и каково оно будет. Да, вот об этом стоит кое-что написать. Теперь это моя чудная молитва. И «дышит непонятная святая прелесть» в этой ипостасной триаде.

**20 февраля 2020**

Для Руссо – либо естественный человек, либо гражданин. Естественный человек в современном мире сохраняет какие-то изначальные свойства,

проявления того человека, каким он был до цивилизации – по Руссо. А гражданин не может быть естественным человеком. Но при этом по общественному договору он может достичь высот спартанского гражданства. И вот в этом проявлении гражданского, которое, по существу своему, неестественно, антиестественно, сказывается необычайная высота, героическая, самоотверженная. Гражданин полностью растворяется в государстве. Лишь на втором плане, после осуществления в себе гражданского проявления, он может вспомнить о том, что он, вместе с тем, естественный человек. Так мать, увидев убитого сына, которого несут на щите, прежде всего спрашивает, победили мы или нет. Узнав о победе, она прежде всего идёт в храм и благодарит богов за дарованную победу, а уже потом возвращается к погибшему сыну, скорбит над ним. Прежде всего гражданка, она в своём гражданском, и Руссо восклицает о такой человеческой победе над своим естественным: «Вот гражданка!». Ему, Руссо, разумеется, ближе естественное. Отсюда конфликт с миром, с цивилизацией, с городом, бегство на лоно природы в мир естественных чувств, дружбы, любви.

Но вместе с тем, вот эта совершенно не разрешаемая, а только нарастающая проблема – естественный человек и гражданин – для него разрешается как-то по-особому. Гражданина и естественного человека сомкнуть порою абсолютно невозможно – по Руссо. Но гражданин что-то наследует от естественного человека в себе. И само гражданское чувство оказывается высшим проявлением человеческого. И потому высшее проявление человечности, благородства, справедливости – это добровольное жертвование гражданином, жертвование собой ради общего. И величайшее преступление – это когда общее, гражданство, согражданство, государство, народ, жертвуют человеком ради себя. Тут проходит обозначенная Руссо граница между высшим раскрытием человека, человеческой личности, и преступлением общества перед человеком. Он неоднократно говорит о том, что человек в естественном состоянии чужд сообществ. Дыхание одного человека ядовито для других. Человек не стадное животное. И при этом Руссо приемлет благоговейно крестную муку Христа, ту человечность, которая проявила себя в подвиге Христа, в его любви к людям, его крестной муке. Он добровольно отдал себя людям, принёс себя в жертву. Те, кто его в себе чувствуют, те, кто идёт по его следам



к своему кресту, – вполне состоявшиеся люди. Это чувство вполне состоявшегося человека в высшем его проявлении естественно или нет? Получается так, что самое неестественное, порожденное обществом, государством, человеческим множеством, цивилизацией, когда «падает двенадцатый час как с плахи голова казненного», по Маяковскому, что вот это всё человек претворяет в естественное или в сверхъестественное, в Божеское. В то, что мы чувствуем, когда принимаем святость, благоуханную святость Евангелия. Иными словами, всё же несмотря на неразрешимость этой дихотомии человек – гражданин, не теряется в гражданине, по Руссо, наоборот, получает особое, божественное развитие то, что заложено как возможность в природу естественного человека. И при этом всё равно это противостояние, эта антиномия естественного и гражданского только нарастает и нарастает.

Да, здесь Руссо коснулся чрезвычайно важного. Человек вносит в естественное самое неестественное, что ему приходится создавать. У Пришвина в стихотворении в прозе «А Гете ошибся» сказано, что вот то, что Гете полагает о неизменности законов природы, неверно. Это ошибка Гете. Не все правильно говорил и он. Ибо только человек, наряду с органикой природного, порождает и бездушные машины. А в природе все лично. И законы природы изменяются в живой природе. Эта мысль восходит к Руссо. Еще раз удивляешься его гениальности и тому, как он опережал века. И очень многое можно скорректировать в наших действиях на будущее. Когда являются цифры, искусственный интеллект, различного рода технологии, которые никак не могут заменить человека. Хотя уподобляются ему и создаются, вроде бы, по его образу и подобию. И ужасно, если они подменяют человека. Это общее место в сознании, культуре сознания современного человека, современности. Это общее, общепринятое чувство и опасение. Но в самое искусственное, самое собственно техническое, самое цифровое, самое сконструированное и лишенное жизни человек может внести нечто от себя естественного. Уже хотя бы тем, что он включает всё бездушно механическое в свой живой контекст. И контекст этот ипостасен.

И тут встает невольный вопрос: неужели эта мёртвая, бездушная, сконструированная, хотя и работающая так, как живёт и само себя творит всё естественное и живое, неужели это – технологическая, механическая ипостась живого? Нет ли здесь какой-то ошибки? Быть может, натурфилософ

под знаком ипостасности тоже совершает ошибку Гете, уподобляя природу механическому и упуская из виду то, что в природе всё лично, всё изменяется, даже сами законы природы. Неужели мы тоже совершаем ошибку, так универсально применяя принцип ипостасности? Чисто логически невозможно решить этот вопрос. Он разрешается иначе, ибо ипостасное сверхлогично. Еще и ещё раз убеждаешься в том, что если чисто логически или чисто технологически, что очень близко одно другому, нечто необъяснимо, значит, в этом есть правда откровения. Есть чудо неизреченности, необъяснимости, божественность. И это оказывается неизменным и каждый раз по-новому примененным и изменяющимся законом. Законом ипостасного мира. И пребудет с нами и в нас во всех наших попытках усовершенствовать природу, добавить к ней нечто, совершить человеческий переворот в этом божественном мире, даже создавая «мастерскую человеческих воскрешений», как пытался об этом, с оглядкой на Федорова, сказать Маяковский. Это сродни тому, как механическое он наделял чисто человечески: «ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?» И тот самый Бруклинский мост, который «над пылью гибели может остаться» в конце концов, в итоге итогов, тоже человек своим ужасом, своей трагической правдой и неизреченностью, которую в этот образ вложил Маяковский. И здесь действует тоже всегда новое, всегда вновь рождающее себя, всегда обновляющее себя по-живому живое ипостасное начало, которое и есть высшее божество, может быть, и сам Бог.

Здесь эти две разные версии сходятся. И даже, если мы не можем применить логическое, технологическое, упрощающее в попытке их свести, мы убеждаемся в том, что ипостасно это оправдано. Ипостасно это явлено нам как некое универсальное откровение, которое обращено к человеку отовсюду, даже в таких, казалось бы, неразрешимых противопоставлениях, трагедиях и тупиках развития. Когда естественное и гражданское, по Руссо, неразрешимо противостоят друг другу. Естественное и гражданское противостоят друг другу, а подвиг Христа снимает это противостояние. Руссо это чувствовал, Руссо об этом спорил с просветителями, которые пытались в его присутствии богохульствовать. И он завещал чистоту и гениальность этого сознания нам. И как бы ни изменялся ход развития, как бы ни оказала себя

зыбь развития, его пророческое правда сохранит для нас всю свою силу. Эта сила – неизреченная правда ипостасности.

## 21 февраля 2020

Где государство, там насилие. Во имя благой или отнюдь не благой цели. Что получается? Какова бы ни была цель, средство, которым пользуется государство, насыщается возможностью человека, красотой человека и самым отвратительным, что может проявить человеческая природа. Где государство, там логика, там система, там спорт, там оптимизм, патриотизм. И всё это может иметь обольстительно красивую форму. И тут очень важно различать, ради какой цели эта красота, стройность, логика, система. Но коммунистическое учение предвещало отмирание государства. А то государство на социалистическом этапе было как бы временной, переходной формой и содержало в себе свое собственное отрицание, тенденцию к преодолению той системы, которую оно же, это государство, вырабатывает и внедряет. И такие попытки были, и они приводили к мысли, к сознанию того, что государство всё же необходимо. «И государство соберется, /И есть необходимость в нём, /И мы последуем идеям /И невозвратное вернём. /И невозможное затеем».

Крушение этой веры в возможность преодоления государства выделяет нынешнее кризисное состояние не только российской социальности, вообще социальности в мире. Коль скоро она хоть в какой-то мере предполагало отмирание насилия, отмирание той искусственной системы, искусственной по Руссо, созданной самой природой цивилизации. Коль скоро такая надежда, такая, не скажу, вера, такое предчувствие живы в мире, крушение советского опыта стало общемировым крушением. Разумеется, множество людей вовсе и не ставило задачу преодоления государства. А тем не менее, скрыто, тайно такая надежда жила, потому что лишь в ней чаяния будущего. Если её нет, будущее уподобляется настоящему. А настоящее идеализируется, одевается ложными видимостями, утверждение которых требует насилия. Здесь есть глубинное противоречие, которым надо было бы заняться. Ибо есть подлинная красота социальности, которая предназначена для преодоления самой себя ради естественной и свободной, природной правды бытия человеческого. Есть

красота в этой системе, как есть красота и в военной колонны и в колонне военных, выстроенной по ранжиру, подчиненной военной дисциплине. Есть красота, воспетая Пушкиным в «Медном всаднике»: «сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою». Стройно зыблемый строй, если так можно тафтологически выразиться, стройно зыблемый порядок которого оказываются люди, готовые защищать это государство, осознающие, что современной им мир это позиционная война, всегда готовая разрешиться кровью, насилием, разрешиться собственно войной.

Вот это противоречие может быть объяснено опять же только в том случае, когда принцип ипостасности подключается к опыту государств, войн. В том числе и войн справедливых, и войн, одухотворенных ожиданием мира и правды мира, ради которых, ради которой идёт эта война. Вот здесь скрыта одна из тайн, которые до сих пор не вполне осознаны и не разрешены. И опять опыт коммунистический заслуживает внимания. И чаяния, одухотворенные и одухотворяющие этот образ, и противоречия его, и крушение этих верований, этих волевых устремлений в царство свободы – всё это заслуживает особого внимания сейчас. Ещё и ещё раз надо повторить: нет этого стремления освободиться от системы того или иного насилия – нет будущего. Да сама система, опять же по Руссо, если вернуться к истокам, пробуждает высочайшие, героические, подлинно патриотические, человеческие, раскрывающие человеческую природу возможности и движения, и достижения духа. Как с этим быть? Неужели нужно возвращать эту, казалось бы, опровергнутую веру?

Я думаю, что возвращать надо, если уловить, признать и очень осторожно применять знания об ипостасной природе естественного человека к будущему естественного человечества. Такое будущее возможно только в том случае, если признаешь ипостасность развития, ипостасность движения к будущему. Признаешь право и правду такого движения. Оно требует новых обоснований. Прежние во многом себя не оправдали и сами себя опровергли. Свобода как изобилие, когда можно брать по потребностям, а отдавать по способностям – недостаточна. Ибо несет в себе отрицание самой идеи изобилия. Здесь требуется глубинное осознание ипостасности бытия. Нынешний кризис, нынешнее глобальное абсурдное существование цивилизации, понятое как момент ипостасности, не сможет закрыть для человеческого сознания представление о том, что грядет и что

так или иначе будет утверждаться опытом. Ибо отвечает природе его. И здесь идея ипостасности, лежащая в основе того представления о духовной культуре, которое я исповедую, в этом разговоре с самим собою (разумеется, я никому не навязываю эти мысли), вот коль скоро будет почувствована, принята вера в ипостасность бытия и его историческую ипостасность, ипостасность развития, ипостасность разрешаемых и пока неразрешенных противоречий, необходимость включения современного опыта в большой ипостасный контекст.

Да, здесь нужны новые, особые обоснования. И сейчас я, путаясь в словах, предчувствую возможность таких обоснований. Очень жаль, что я, наверное, не смогу их вполне осуществить. Моя ипостась кончается. Но тем сильнее вера. Она открывает возможность научного опыта в познании этого закона. Она же откроет ей силу и новую возможность художественного опыта. Того опыта, который отдельными бликами, какие-то мгновения, в лучших достижениях уже существовал всегда.

Существует и сейчас. Существует как творческая воля, как ощущение естественной красоты бытия. Как способность не бояться противоречий гражданского и естественного. Как воля к тому, чтобы не лгать себе на этом пути и, почувствовав абсурдность кризиса, вспомнить об ипостасной правде движения вперёд и отдать, по возможности, силы свои на то, чтобы эту правду осознать, обосновать, сделать это достоянием всех. Проповедовать о ней религиозным, научным и художественным словом. Именно в таком ипостасном соотношении религиозного, научного и художественного, только в таком соотношении возможна способность уловить неуловимое божественное ипостасное начало небытия. Я невольно чувствую, что где-то стою на пороге, как Моисей, которому не дано переступить этот порог, войти в обетованную землю. Но если в «Агаде», в одном из потрясающих эпизодов «Агады», где повествуется о том, как Моисей просил Бога продлить его жизнь, не отнимать её, и Бог, любя Моисея, вместе с тем, не мог простить ему прегрешение, одно из его прегрешений. И Он не отзывался на молитву любимого им человека, а он просил продлить хотя бы на минуту, хотя бы на секунду свою жизнь. И Бог, целуя Моисея, принял из его уст его жизнь, лишив Моисея возможности её продлить. Вот эта совершенно потрясающая новелла из «Агады» тем больше потрясает, что она кажется совершенно безысходной, говорит о

безысходном. Оказывается, самый любимый Богом человек, за какое-то прегрешение обречённый смерти, никак не может, как, подобно Гильгамешу, никак не может отодвинуть этот свой неизбежный конец.

Новелла эта потрясает своей художественной правдой, психологизмом. Она страшна своей религиозной идеей. И вместе с тем, она не озарена, не раздвинута, не прояснена той самой идеей, которую я исповедую сейчас – идеей ипостасности человеческого сознания, бытия и небытия, небытия и вновь рождения. Для Моисея, героя этой новеллы, такая возможность есть тайна, которую он даже не предчувствует, раскрытие которой даже не может предположить. Но нечто подобное есть и в учении Гермеса Трисмегиста. И всё это вопреки древнеегипетской религиозной традиции с ее культом посмертной жизни и древнеиндусских верований. Не тех, которые говорят о вливании в Абсолют, а тех, которые говорят о бесконечных возможностях инкарнаций, перевоплощений, пресуществлений. Так вот, если в этой искренней, честной и страшной новелле из «Агады» нет бликов идеи ипостасности, то во всей остальной культуре мира разбросаны эти блики. И сама неразрешимость этой новеллы говорит о том, что есть правда помимо неё. И что она только момент, мгновение. Хотя это мгновение может распространиться на неизмеримо большой период жизни человечества и народа. Но всё равно, это мгновение, в особом ипостасном ряду. Вот это верование в разрешение, ипостасное разрешение неразрешимых противоречий, в том числе и противоречий насилия и свободы, гражданственности и естественности, государства и свободного бытия в условиях, когда государство уже не нужно, – вот это чувство, это предощущение, это верование отвечает мне сегодня в моём разговоре с самим собой.

**22 февраля 2020**

Первая ипостась – готовность к любому испытанию, способность творить. Вторая – трагедия этого испытания. Здесь вся боль тех возможных переживаний, которые эта трагедия готовит, и вся недостижимая для первой ипостаси духовная высота подвига. Страдает и гибнет то, что не должно страдать и погибать. А третья ипостась – катарсис трагедии. Способность уже не просто, если так можно сказать, не просто, способность не только к

творчеству, но способность к взаимопереходу ипостаси. Вот ещё одна версия Троицы, ее ипостасной божественной природы, которая вполне прослеживается и открывается во всём бытии. Ибо всё бытие – вторая ипостась с ее трагедиями, противоречиями, тупиками, муками и с ее духовным подвигом, с его духовным подвигом, подвигом бытия. Оно – падение, и оно – самое высокое преодоление. Падение и преодоление не ипостаси. Но им присуща ипостасность. Это всё осознается, подготавливая новый виток творения в третьей ипостаси. И ни в коем случае третий не означает приоритет духа. Дух есть осознание трагедии. И дух есть предчувствие творчества, готовность к творчеству и божественная осуществимость творчества, которая произойдет уже в другой ипостаси. И в целом это триединство потому и ипостасно. Но сколько бы мы ни говорили, сколько бы я себе ни пытался объяснить этот ипостасный принцип, эту природу, божественную природу бытия, но всё равно что-то ускользнет, что-то не будет объяснено, что-то потребует новых объяснений.

Вчера был хороший разговор с двумя учениками. Мы, как ни странно, говорили об изложении как о пересказе, как о высшей форме анализа, синтеза. Когда пересказывается не только содержание, но пересказывается и форма, и стиль того текста, о котором идёт речь. Вдруг оказывается осознанной неисчерпаемость этого текста. А все эти, даже непредвиденные, неисчерпываемые возможности, ассоциации, грани создаваемого, того, что надо пересказать, все они так или иначе – непременно условия того, чтобы образ состоялся. И такой пересказ, пытающийся исчерпать неисчерпаемое, требует особого языка, того, который сродни языку пересказываемого текста. Но он вносит в пересказ образ и опыт того, кто пересказывает. И такая форма, такой способ творчества в литературоведении – это его, литературоведения, венец. Вот почему Александр Веселовский пользовался пересказом и превращал свои труды в тексты, равноценные тем, о которых шла речь. Так он пересказал всего «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле. Там, казалось бы, просто пересказ. Но одновременно там и глубинная, глубочайшая концепция всего романа, спорная, может быть, не во всём справедливая. И там, на языке романа, метод его создания, способ проникнуть в творческую лабораторию, способ почувствовать первую ипостась творения. Вторая ипостась не всегда воплощает то, что обещано первой ипостасью. Иногда воплощает совершенно неожиданное,

неисчерпаемо богатое и осознаёт со всей болью, которая присуща творцу, потери, неосуществление, несбывшееся в момент творения. И всё это осознается третьей ипостасью, которая готовит новую первую. Мы взяли поэму Маяковского «Война и мир» и попытались пересказывать. Ну вот, третью главку. И захлебнулись от ощущения абсолютной неисчерпаемости текста. Это текст один из лучших в мировой поэзии.

До сих пор он недооценен. Это больше, чем язык о том времени и язык Маяковского. Это наш сегодняшний язык; о наших сегодняшних трагедиях бытия; о наших тупиках, об абсурдах нашего сегодняшнего развития, когда оно перестаёт быть развитием, – говорит о гибели, о том, что не сбылось. И это, вместе с тем, язык – катарсис исторического, остро современного сегодня, спасительного для будущего, несущего в себе благую весть, но отнюдь не благодетельную. Ибо творчество это новое испытание, новая трагедия, новая вторая ипостась. И вот мы пересказали несколько строф, несколько четверостиший. И в этом пересказе сразу же обнаружилась особенность, индивидуальная возможность ученика. Он оказался чрезвычайно талантлив, он привнес в этот пересказ то, что, может быть, не осознавал и сам Маяковский. Но что сродни ему, и с чем автор «Войны и мира» согласился бы, не мог бы не согласиться. Да, редкое переживание. Метод такого переживания. Тем более, что ученик сам склонен к творчеству. Он пишет не только о поэме «Война и мир», но и о том, как она создавалась. А Маяковский писал ее, когда война шла. Она ещё не кончилась, она ещё открывала новые бездны, падения, испытания. И вдруг почувствовалось, что это в высшей степени современно сейчас, сегодня, когда вся Европа может быть употреблена зажжённой люстре в театре возможных военных действий. А шпили церквей, готических соборов Европы – челюсти с выбитыми зубами. И сколько бы мы ни пытались на языке Маяковского его пересказать, говоря об этой поэме, неисчерпаемость таких возможностей нарастала бы. Нам пришлось прервать этот разговор с тем, чтобы хоть немножко выдохнуть, хоть немножечко перевести дух от ощущения творческих возможностей. Возможностей создания нового, отвечающего сегодняшнему состоянию бытия и что-то объясняющего в том, что было, и в том, как творился этот уникальный и до сих пор не оцененный по-настоящему текст. Текст библейского звучания – и ветхозаветного и евангелического, когда герой, тот, от имени которого идёт рассказ, берёт на себя, в последней части поэмы,



подвиг Христа и тем спасает и очищает мир. Да, вот ради такого разговора стоило искать, мучиться. И хорошо, что ученик был к этому готов. Я думаю, что он об этом не забудет. И лучшие мгновения в его жизни, лучшие творческие мгновения будут нести в себе эту великую возможность, это великое «быть может», которое может быть.

### 23 февраля 2020

Уже полгода ищу вариант четверостишия для моего «Экклезиаста». Сколько перебрано слов и возможностей. Язык весь, казалось бы, призван ответить на то, что мне нужно. И как часто казалось – вот, наконец, найдено; вот удивительно, почему я раньше не нашёл. И спустя время, на следующее утро вспомнишь, перечитаешь и приходишь к одному и тому же. То, как есть, лучше, чем то, что ты нашёл вчера. И лучше, чем всё то, что ты находил. Значит, то, что есть, так и надо оставить. Это хорошо. Логично, вполне, логически всё так. Но внутренне всё существо моё протестует против такого. Нужно искать, продолжать искать. И перед сном, как только положишь голову на подушку, для того, чтобы заснуть, нужно ещё раз перебрать всё, что возможно вместо того, что есть. Убедиться ещё раз в том, что найденное хуже, и тогда незаметно для себя заснуть. И там, во сне, освободиться от этой увлекательной, не отпускающей тебя заботы о том, чтобы нужно найти новый, абсолютно тот, точный мой вариант четырех стихов. Так бывало много раз. Я откладывал работу над тем или иным стихотворением и потом, особенно в условиях, когда не надо писать, и нет условий для того, чтобы записывать. Тем более, на компьютере или на пишущей машинке. А ручкой записывать я отвык. Так вот, когда такие условия есть, вдруг всплывает недоделанная строка, и начинаешь её доделывать, закрыв глаза, в темноте, при потушенном свете, ожидая ухода в сонное небытие или бытие сна. И вот часто бывало, в какой-то миг такого засыпания удавалось найти то, что прекращало работу. Значит, самое главное – естественно, не принуждая себя ни к чему, не навязывая себя самому себе и не впадая в какие-то иллюзии насчёт того, что найдено, самое важное – дожить до мгновения, когда весь организм, вся душа скажет: всё, слово найдено, или слово найденó, как у Пушкина сказано.

И сейчас вот этот процесс идёт, и только я почему-то занимаюсь этими строками каждый день. А надо их забыть, надо отложить, надо жить с чем-то совсем другим. И вдруг внезапно из этого другого, где что-то удалось и что-то не удалось, вновь наткнуться на недоделанные строки. И самое любопытное, что я верю в возможность такого варианта, который прекратит эту работу, завершит её. Хотя кажется, я перебрал всё. Я заглядывал в словари, в том числе и в словарь, обратный словарь, где всё расположено по алфавиту, но не с начала слова, а с конца. По сути, это великолепный словарь рифм. Вот, я заглядываю туда, вот в многотомный словарь литературного языка, очень любопытное издание, вот в самый обыкновенный толковый словарь. И не только в словарь. Перебираешь, казалось бы, всё возможное и невозможное. Там, где невозможно, придумываешь. Придумываешь даже то, что ты вдруг написал или вообразил, что увидел нужное слово, и оно оказывается верным. Неловко и смешно немного, но скажу, что таким образом я трудился не только над своими стихами, но над стихами Державина, когда публиковал варианты. Мне надо было вчитываться в рукопись. Бывало так, что я по памяти воображал державинское написание, которое никак не давалось, и невозможно было его расшифровать. Один раз фотограф в Москве у Владимира Германовича Лидина, там, где я смотрел издание «Анакреонтических песен» с поправками Державина и нужно было расшифровать дарственную надпись, которую Лидин прочел не совсем точно. Так вот фотограф, который присутствовал при том, что вот я вчитывался, с помощью дочери Владимира Германовича, которая мне уже после смерти отца дала возможность ещё и ещё раз вчитаться в это державинское написание, увидев мои старания, он сфотографировал для меня. И в увеличенном виде эту фотографию подарил с тем, чтобы я мог каждый день в течение года, даже больше, с лупой в руках, разгадывать эту не дающуюся для прочтения надпись. Удалось ее прочесть с помощью дочери Лидина. Она вдруг подсказала самый простой вариант, который именно потому, что он так прост, я не думал приписать Державину. Но он оказался верным. Надпись была прочтена, работа была окончена, вариант пошёл в печать. И я занялся чем-то совсем другим.

Сейчас с моим «Экклезиастом» такое ещё не произошло. Миг, когда я почувствовал бы, не сказал себе, а почувствовал бы, что работа кончена, ещё не наступил. Но все мои старания не даром. Они позволяют как бы заново

вообще пересмотреть всё то, что можно было бы вспомнить, думая об этом ненайденном, лучшим из лучших, варианте. Вот работа эта по-своему неожиданно радует. Нет досады, что она не закончена до сих пор. Уже полгода прошло, как я ищу нужный вариант. Наоборот, каждый раз погружение, в состоянии которого я ищу нужное слово, нужные строки, каждый раз это погружение одаривает меня каким-то новым богатством ассоциаций. Такими образными ходами, которые раньше я не переживал, не встречал, не воображал и не придумывал. Поэтому работа эта радует. Как-то еще в детстве я сказал моей маме, трудясь над одним из своих черновиков, что если нужно, я потрачу всю жизнь на то, чтобы написать именно то, что я хочу. Написать так, чтобы каждое слово было точно найдено и говорило бы мне: всё, можешь идти дальше. Можешь начинать новую жизнь с новой строкой. А эта уже совершена и завершена. Вот такое было и сейчас. Я удивляюсь этим мгновениям, когда чувствуешь, что работа кончена. Удивляюсь тому, что эти мгновения вообще были. И как их много, перечислить их ведь невозможно. И вспомнить тоже очень трудно, хотя отчасти и можно было бы. Как много их было, а ведь только одно из них могло быть тем, кому я в детстве готов был посвятить, ну, в отрочестве, готов был посвятить всю жизнь и так и умереть в поиске нужного слова. Да, придумать здесь ничего нельзя. Нужно дожить, как сказал один поэт, жизнь подскажет. Правда, Блок в своем гениальном стихотворении «Шаги командора» записал как-то насчёт слова «мотор». «Тихий, как сова, мотор». Рифма прекрасная: мотор – командор. Слово «мотор» имело тогда значение «автомобиль». Всё, казалось бы, на месте. Но Блок признавался себе, что слово это ему не нравится, но он так ничего и не смог придумать, как ни пытался. Не мог придумать другое. И поэтому в своём шедевре оставил это слово. И несмотря на то, что оно сейчас имеет другое значение, и тот, кто слышит текст, может не очень понять, что за «тихий, как сова, мотор» и в чём зловещий его смысл, но стихотворение это закончено. Слово там стоит незыблемо. И не только потому, что Блок ушёл. И после смерти Блока можно было бы поискать. Тем не менее, как правило, ничего не находишь по следам того, кто создавал эти строки, пользовался этим словом и искал его вариант, искал его ипостась и так и не нашёл. Хотя где-то ипостась возможна. Или даже то, что невозможно, есть в этом мире невозможного. Но это ипостась. Подобная той, которая ожидает, когда кончится эта. А эта найдена.

И я счастлив, что пока не могу сказать: работа закончена. Пусть она продолжится. Это имеет ещё один важный для меня несказанный смысл. И я не буду его выражать словесно. Пусть продолжится это погружение, и пусть долго я ещё не скажу себе самому: ипостась завершена, будь готов начать новую, а с этой простись.

## 24 февраля 2020

«И сохраняя прежнюю основу,/ Я освободительно останусь жив. /Эпоху старую, эпоху новую /Перемешав и заново сложив». Мне кажется, что в этих неловких строчках отразилось кое-что из того, о чём так трудно сказать. Тайна ипостасности. Так, как она живёт в творческом обиходе. В творческом обиходе того, кто творит. Того, кто осуществляет переход одного времени в другое, одной ипостаси в другую. Тот, кто осуществляет смену эпох. Но ясно, что они осуществляются сами. И всё же есть кто-то, кто осознает это движение; кто-то, кто смешивает прошлое, недавнее прошлое, настоящее, будущее, и вновь выстраивает их в том же, но другом, порядке и качестве. Тогда и возникает вот это странное воспоминания о том, чего не было. Но на самом деле оно было, только немного другим.

Несколько раз в жизни, довольно часто, я вспоминаю о том, что где-то, в каком-то доме Ленинграда, в каком-то знакомом мне доме, где я бывал, если подняться по лестнице, тоже знакомой мне до мелочей, и позвонить или даже постучать в дверь на втором этаже, мне откроет старушка, которая живёт в небольшой комнате и ждёт меня. Она помнит, что я когда-то здесь был, и мы говорили на каком-то совсем особом языке намеков, символов о том, о чём невозможно точно сказать словами. И понимали друг друга. И понимали, несмотря на то, что между нами пролегло огромное, необозримое и необратимое пространство. В ее маленькой комнатке, за шкафом с книгами, стоят её картины. Она художница. Помню, когда я был у неё последний раз, она аккуратно вынимала одну картину за другой, их было не так уж много, и ставила их передо мною, прислонив к стене. И рассказывала о каждой из них. А потом так же аккуратно она убрала их, поставила так, как они стояли. И мы с ней пили чай, и она ждала, когда я прочитаю какие-то свои новые стихи. И я читал ей своего «Садко» – «Ревут, ревут чудовища морские» – которое вошло потом в поэму «Данте», это

стихотворение. И она спокойно, тихо, с любовью ко мне, с пониманием того, что я так и не сумел выразить этими строчками, говорила мне о том, что это хорошо в такое время быть взволнованным и даже испытать вдохновляющее воздействие таких сюжетов. И вот я ещё что-то читал, а потом простился с ней и ушёл, казалось бы, навсегда.

Однако, я помню, как она, эта старушка, приезжала ко мне домой. Это было, когда еще была жива моя мама и жили мы в доме номер восемь, там, где жил и работал мой отец. Она приезжала и ко мне, и к моей маме, о которой ничего не знала. Но сразу в ней находила душу сочувствующую и понимающую. Рассказывала ей и мне о Врубеле, которого она видела, и с которым был дружен её муж Александр Павлович Иванов. Вот только сегодня я соединил и как-то по-новому выстроил вновь это смутное воспоминание. И реальные совершенно встречи со Смирновой-Ивановой, художницей, женою Александра Павловича Иванова, автора книги о Врубеле, чуть ли не первой книги, которую так любили художники, и автора гениального рассказа «Стереоскоп». Который так взволновал Блока. Блок упоминал, по-моему всего один раз, об Александре Павловиче и говорил, что этот рассказ открывает целое направление в литературе – научно-художественную прозу. Ну, это надо уточнить, как именно выразился Блок. Но Смирнова-Иванова, которая слышала когда-то мою поэму «Фаэтон» и шутя сказала тогда мне, ещё школьнику, что она одна из моих поклонниц, Смирнова-Иванова дала мне на время отдельное издание рассказа «Стереоскоп» с её иллюстрациями. Это была книга из того Серебряного века, который она воплощала в себе, своих картинах и в своём одиноком ожидании меня в своей маленькой комнатке. Конечно, это было всё не совсем так, но было и это.

Она была очень дружна с художницей Щекочихиной-Потоцкой, женой Билибина, с которой я тоже часто встречался ещё школьником. И вместе все эти встречи пробуждали какое-то особое чувство, возвращали к воспоминаниям о том, чего не было. Ибо я вспоминал встречу со Смирновой-Ивановой, не ассоциируя её с той старушкой, которая мне снилась. Я прекрасно помнил Смирнову-Иванову, я прочитал этот рассказ «Стереоскоп», всмотрелся в очень хорошие, совсем в духе Серебряного века, иллюстрации к нему. Очень взволнованный этим рассказом и навсегда его запомнив, я вернул ей эту книгу. А потом наши встречи прервались, их было несколько.

Но на одной из последних встреч она мне показывала рукопись поэмы «Стрибок», записанной рукой Александра Павловича Иванова. Поэма в духе «Эдды», как значилось в подзаголовке. Так она ответила мне на моё стихотворение о Садко. И оказалось, что разные эпохи, между которыми столько десятилетий пролегло, встретились. И я не хотел бы, чтобы эта встреча была забыта. Только сегодня я понял, что это моё смутное воспоминание – это память о Смирновой-Ивановой и об Александре Павловиче Иванове. Которого я, конечно, никогда не видел, но с которым тоже, несколько лет тому назад, встретился в букинистическом магазине. Там я увидел на витрине прилавка за стеклом книгу Иванова о Врубеле. А я мечтал ее иметь и прочитать, потому что знал, как ее любил мой отец, как о ней вспоминал Самохвалов, дядя Шура.

Я попросил показать мне эту книгу и увидел, что в самом начале там большой автограф Александра Павловича. Он когда-то подарил эту монографию литературоведу Батюшкову и извинялся как бы перед ним, что особый такой поэтический тон этой книги вызван тем, что она создавалась почти сразу после смерти Врубеля, с которым он был близок. Да и Смирнова-Иванова рассказывала моей маме и мне о Врубеле многое такое, что вместе с нею ушло в небытие сейчас. Но осталось в моей памяти, и не хотел бы, чтобы вместе со мной эта память ушла. Потому что несказанно тёплое, волнующее своей неуловимостью воспоминание о том, как я приходил в эту небольшую комнатку к старушке, которое, на самом деле, разгадывается как память о другой, и нескольких встречах, которые потом прервались, а потом окончательно были прерваны смертью Смирновой-Ивановой, вот это смутное воспоминание и эта память о том, что было действительно, на самом деле – как я хочу, чтобы она нашла когда-нибудь у меня словесное выражение. Не такое, как сейчас, а по-настоящему точное. На языке, который напомнил бы удивительную, точную и таинственную прозу Александра Павловича в его рассказе «Стереоскоп» и в его книге о Врубеле. Вот и получается, что, оглядываясь на свою жизнь, вспоминая мгновения, которые я не хотел бы, чтобы они ушли, я вот оказываюсь тем, кто перемешивает эпохи, потом вновь их выстраивает для себя. Разумеется, для себя. Но пусть это будет не только для меня. Ибо мы рождаемся затем, чтобы выразить, высказать то, что невозможно передать ни словом, ни искусством. И то, что, на самом деле, передаётся и искусством, и точным словом. И я сейчас

чувствую, что в той самой комнатке из моего сна, скромной лампочки под абажуром, она, эта старушка из моего сна, продолжает меня ждать. И сегодня она дождалась того состояния в душе, когда она почувствовала, что я о ней вспомнил. И что я понял, кто она, и попытался передать то несказанное, что меня связало с ней. Боже мой, как хочется, как хочется, чтобы тебе было подвластно точное, простое и точное слово. «И сохраняя прежнюю основу, /Я освободительно останусь жив. /Эпоху старую, эпоху новую /Перемешав и заново сложив».

## 25 февраля 2020

Миф о вечном возвращении и проблема ипостасности. Как соотносить эти понятия? Вечное возвращение – некая замена учения о загробном существовании и о бессмертии души. Ипостасность нечто совсем другое. Здесь важнее всего то, что никакого загробного существования такое учение не обещает. Существование – в реальности, в бытии. «Верить в загробь! / Легко прогулку пробную. /Стоит только руку протянуть – /пуля мигом в жизнь загробную /начертит гремющий путь. /Что мне делать, если я вовсю, /всей сердечной мерою / в жизнь сию, /сей /мир /верил/, верую». Это Маяковский. И он мне очень близок. И не идеей «мастерской человечьих воскрешений», которая тоже среди учений о том, что будет после, тоже, как будто бы, поправляет верование в загробное существование. Его нет, но есть разум человеческий, есть наука, есть опыт. Если всё это соединится в общем деле воскрешения умерших, то та граница, которая положена природой, будет преодолена. Причем, это учение Фёдорова радостно, оптимистично и действительно апеллирует к науке. А идея Ницше о вечном возвращении пугала его самого. И мы уже касались этого в наших беседах по утрам с Противоречащим и с самим собою.

Ипостасность – нечто совсем другое. Представление о ней для меня дорого тем, что оно не просто возвращает к реальному миру, к людям, которые живут с тобой рядом, и к тем, которые будут жить после тебя. Она, эта идея ипостасности, это благая весть о степени любви к миру, людям, когда даже в глубинах небытия любовь обнаруживает преодоление, ибо небытие, отменяя себя самоё, становится бытием. Учение об ипостасности приемлет мир таким, каков он есть, не исключая его усовершенствования.

Пусть будет общее дело – по Федорову. Пусть оно будет, как одна из задач познания и жизнеутверждения. Учение об ипостасности не пугает, как вечное возвращение. Там требовалось от человека жить так, чтобы не было страшно без конца повторять эту жизнь. Но как быть, если ты уже прожил какую-то часть жизни и теперь всё равно обречён её повторять? Даже если ты изменил свою жизнь. И будет вечно повторяться эта необходимость её изменить. Нет, учение об ипостасности свободно и от таких пугающих возможностей или предостережений. Оно учит всматриваться в мир. Даже тот, который ты, вроде бы, покинешь. Но ты ипостасно живёшь уже сейчас в других людях. И можешь вообразить, как это будет после того, как эта твоя ипостась завершится.

Она уже сейчас завершена, ибо ограждена теми гранями, которые отделяют твоё «я» от других. Уже сейчас ты чувствуешь эти грани. И ты привык к тому, что они тебя не страшат, если ты умеешь, сохраняя их, вместе с тем их преодолеть – сочувствием, состраданием, любовью, способностью видеть мир, способностью отдавать себя ему и черпать из него. Это совсем другое. Ничем не ограничивая возможности человека по преображению мира, чего так боятся сегодня, ничем не ограничивая возможности науки, фантазии в творчестве, воображении, предчувствии, интуиции, учение об ипостасности, вместе с тем, зовет полюбить мир такой, таким, каков он есть.

Вдруг оказывается, что очень многое ты не осознавал, не замечал. Не ценил, потому что оставался только в своих гранях. А вместе с тем, они прозрачны. И те чувства, которые живут в тебе и составляют богатство твоей души, твоего сознания, они уже сейчас дают тебе знания о том, что за пределами твоего «я». За пределами твоего «я» ипостасная их жизнь, их вновь рождение, их сродство с тобою. Вот почему я не боюсь исповедовать это понятие «ипостасность». И мне кажется, оно не враждебно другим честным, глубоким, потрясающе глубоким предчувствиям, учениям, верованиям. Оно, казалось бы, принимает все эти верования, находит в них общее и возвращает в мир, который тебя окружает сейчас. И который, несмотря на всё несовершенство своё, на все мучительные противоречия, которые в нём и в тебе, прекрасен. Этот мир прекрасен, и он от тебя не уходит. Где-то у меня был рассказ «Хочешь родиться», и есть поэма «Перед рождением». И я вдумываюсь ещё и ещё раз. Чем это ожидание того, когда ты вновь родишься или когда ты захочешь родиться и вновь, младенцем



начав существование, пройдешь до конца свою ипостасную жизнь, чем оно отличается от твоего сегодняшнего ощущения себя внутри прекрасного мира, внутри того, что тебе ипостасно? Многообразных проявлениях, неисчислимо многообразных. Пространственное, временное есть ипостасность, возведенная в степень себя самой.

И уже сейчас важно полюбить именно такой мир. Понять, почему ты раньше не испытывал столь глубокой и всеобъемлющей любви к миру. И поняв это, преодолеть в себе самом эту невольную, прозрачную и, оказывается, преодолимую грань твоей ипостаси. Вот Фридрих Ницше напрасно боялся вечного возвращения. Рядом с таким учением, с таким чувством, с таким верованием, с таким образом вечное возвращение кажется нестрашной выдумкой. Впрочем, предположить возможность того, что кто-то точно в такой же комнате, точно за этим круглым столом когда-то так же сидел, с тем же Возражающим, и думал, и говорил, и даже диктовал те же самые мысли, и испытывал то же самое состояние здоровья и, надеюсь, всё же не окончательное повреждение зрения. Допустить это тоже вполне возможно. Ипостасность, учение о нём, не отвергает такую гипотезу, но и не сводит всё к ней. Гипотеза есть гипотеза. Всякая гипотеза, если вдуматься в неё, вжиться, отчасти страшна, ибо она всё равно возникает в том мире, который ты любишь. И прекраснее которого всё равно, при всех его совершенствах, нет ничего.

Или, иначе сказать, то, что прекраснее этого мира, возникает в нём же. И оно ипостасно тому, что окружает тебя и живёт в тебе. Вечное возвращение к чему-то не только обязывает, но что-то категорически исключает для тебя. Ты не можешь выйти за пределы этой вечно повторяющейся кармы. В отличие от индусских верований, карма эта ничему не учит, ничто не усовершенствует и не даёт выйти за свои пределы. Хотя те, кто писал о вечном возвращении Ницше, по-своему трактовал эту идею. Допускали, что какие-то изменения всё равно происходят. В каждом из появлений, в каждом из возвращений. Но это уже отступление от той идеи, которая так поразила самого Ницше. Страх, который вызывает вечное возвращение, связан с запретами, которые снимает учение об ипостасности. Снимает принципиально. Хотя допускает, что в каких-то случаях такое возможно. Но сознание вечного возвращения есть недосознание ипостасности. И как недосознание оно может пугать. Впрочем, как и всякое

недосознание, которое выясняется, выявляется только при сопоставлении с ипостасной возможностью и с верой в ипостасность. Это ещё одно, ожидаемое для меня и, вместе с тем, несколько неожиданное подтверждение правды того учения, которое я пытаюсь исповедовать. Я не придумываю его. Некий голос диктует мне. Оно как будто существует уже. Оно существует как предчувствие, оно одухотворяет и пронизывает весь опыт, весь духовный опыт человечества. Оно всегда есть степень осознания этого понятия об ипостасности. Степень порою очень глубокая, порою совсем примитивная, но это всегда степень недосознания. И когда ты понимаешь это, уже ничего не страшно. Ты в большей степени, чем во время индусских медитаций, чувствуешь себя центром мира, не будучи им, а будучи ипостасью в этом мире. Ну что же, прощай, вечное возвращение. Но я всё же хотел бы, чтобы оно осуществлялось в тех случаях, когда я хочу вернуть лучшие мгновения жизни, самые лучшие дни и минуты. Быть в состоянии вернуть их вполне, а не только ипостасно. Просто вернуть. И я думаю, что такое возможно, но только как одно из проявлений ипостасной правды, которую мне посчастливилось почувствовать, осознать и сообщить самому себе.

### 26 февраля 2020

В свое время я выступал против того, чтобы идеология подменила духовную культуру народа. Многократно, на разных конференциях, которые каждый год у нас проходили. И в общем эта идея, независимо, разумеется, от меня, победила. Даже в Конституции было сказано о том, что никакая идеология не может быть провозглашена как единственная для России. Деидеологизация. Ну, за рубежом, на западе уже давно прошёл процесс, и идёт реидеологизации. У нас он сейчас начинается. Сейчас как будто все мнения, все опасения, все предчувствия сходятся к тому, что России грозит опасность. Ибо в ней нет идеологии, нет идеи, которая бы всех соединяла. Если бы сейчас каким-то чудом Достоевский ожил бы и раскрыл бы свой «Дневник писателя», там прочёл бы схожее. Всё начинается с идеи, которая объединяет людей.

Но надо сказать, что я не был вообще против идеологии. Я был против того, чтобы она подменяла духовную культуру, была бы объявлена вместо

неё, была бы вообще объявлена духовной культурой народа. Идеология – определенный срез духовной культуры, ситуативный, связанный с тем, что надо определить цели, задачи. Даже не столько стратегию, сколько тактику современной истории народа. Но коль скоро такое произошло бы, и была бы объявлена некая идея, которая объединит всех, мгновенно тактика была бы объявлена стратегией. И повторилась бы та же обыкновенная история, характерная для России. И был бы, разумеется, искусственный этап подъема, мобилизации, но потом всё пришло бы к угасанию, разрешилось бы агонией, чисто идеологической, объявленной стратегией смысла жизни страны и подменившей собой культуру духа. И мы опять встали бы перед теми же проблемами новой идеологизации. Ведь в чём суть этого несовпадения идеологии и духовной культуры? Культура духа, как я понимаю её, предполагающая равноправие, паритетность основных начал культуры: религиозное, научное, художественное – эти основные, предельно общие, определяющие типы голосов, эти голоса духовной культуры порождают все остальные проявления, голоса и подголоски культуры духа. Они паритетны по отношению друг к другу, и они ипостасно соединены. Не только одно идеологическое единство по-настоящему способно объединить. Эта мобилизующая форма единения временна, ситуативна. Объединяет ипостасное единство духовной культуры.

Вот его-то и нужно по-настоящему осознать народу, России нашей, на сегодняшнем, кризисном, почти катастрофическом, этапе её истории. На том этапе, когда, казалось бы, явные могучие силы исторического опыта страны близки к своему торжеству. Много сделано в сфере духовной культуры. Но есть и чёткое, ясное сознание сейчас, прорезавшееся сознание о том, что почти ни одна проблема, стоящая перед Россией, не решена. И вот мы пытаемся что-то внести в Конституцию, закрепить там некую объединяющую систему идей, ценностей, ради которых Россия призвана жить. Закрепить с тем, чтобы она, будучи признанной, принятой, неподвижной, какое-то время заменила или подменила религиозный ориентир народа. Это политический аналог религиозного начала в духовной культуре. Но ведь это только один из голосов.

Требуется равновесие, паритетное соотношение с наукой, искусством и всеми другими институтами, духовными институтами культуры духа. Эти соотношения, во-первых, ипостасны; во-вторых, внутри ипостасного единства

им присуще ролевое распределение. Религия отвечает на все важнейшие вопросы бытия, которые требуют веры. Здесь решения не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты, ибо требуют веры. Наука всё проверяет опытом, анализом, экспериментом, но она никогда не может конечными средствами измерить бесконечность, от имени которой религия ориентирует народ. Однако, наука в чём-то может своими выводами совпадать с религиозными аксиомами, положениями, а в чём-то расходиться. И это не приведет к распаду духовной культуры, ибо обе эти сферы культуры духа паритетны и ипостасно соотносены друг с другом. Но есть и третья – художественная, значение которой в истории России чрезвычайно важно, как и в истории любого другого народа. Художественное испытывает опытом жизни и религиозные верования, и научный опыт. Научные гипотезы, научные положения, решения проходят испытание опытом жизни. Именно искусство воссоздает это испытание. Ну, разумеется, опыт жизни это безграничное бесконечное напряжение и в политике, и в экономике, и во всех других задачах государства, общества, народа.

И всё это одухотворено культурой соотношения религиозного, научного и художественного. Благодаря этому ипостасному единству духа возможна оценка и политики, и экономики, и всех других собственно государственных проявлений и институтов. Итак, мы ещё и ещё раз приходим к мысли о том, что то единство духовное, единство, которое сейчас спасительно объединит народ, объединит Россию, может быть подменено идеологией, которая, будучи определённым срезом духовной культуры, не предполагает диалог внутри себя. Она утверждает, и она не обсуждается. Она может быть принята, я никогда не отрицал этого, но принята только в той роли, в какой идеология может явиться в опыте народа. Если мы будем знать, что это идеология, которая не может подменить и заменить культуру духа, тогда она не опасна. Она тот инструмент, который мы знаем, знаем его возможности и возможности, ареал его применения. И не потеряем главное в культуре духа – ипостасное единство трех разных измерений: верования, исследования и воссоздание, и, по возможности, полное, доступное искусству переживание опыта жизни, во всех проявлениях этого опыта. Сугубо личных, тут и вопрос семьи, тут все то, что хотят сейчас внести в Конституцию, и политика, и отношение к земле, и к природе России, и к ее недрам, и к её вооружению, и к патриотизму народа – всё

неизмеримое богатство человеческого опыта. Его нужно уметь переживать, его нужно уметь нести в себе, ибо каждый человек ипостась, каждый человек есть некий ипостасный вариант духовной культуры народа. Разумеется, если он знает возможность такой задачи, которая встаёт перед страной.

У меня-то чувство, что никто этого не осознаёт. Поэтому сейчас у нас на глазах происходит замена и подмена духовной культуры, которая, если и даст искусственный импульс жизни страны, но очень скоро или не очень скоро, что ещё хуже, будет агонизировать. И мы опять встанем перед абсурдом существования, который возникает в нашем сознании именно потому, что мы отступили от культуры духа. Так что Конституция нас не спасёт, но может мобилизовать на какое-то время. А главная задача, решение которой воистину спасительно и надежно, задача, которую всегда, на всех этапах истории, Россия так или иначе решала, не только ставила, но и решала, сегодня не осознается и не решается. И только катастрофичность развития может вернуть нам сознание необходимости решения этой задачи. Кто знает, может быть, и сейчас совершится некий чудесный поворот. Ведь ипостасность божественна, пути её иногда не предсказуемы и решения неожиданны, повороты стремительны, почти мгновенны. Всё это возможно. Такое и бывало уже в нашей истории. Но осознание такой возможности требует не только веры, но и научного анализа, погружения, научно поставленного эксперимента. И могучей художественной силы испытания всего, что даёт религия и наука, опытом жизни. Всего этого требует сегодняшняя Россия. Но ни один голос никого из тех, кто обсуждает её судьбу сегодня, не свидетельствует о том, что это естественное и спасительное для России знание осознано народом.

**27 февраля 2020**

Ипостасное начало всегда определяло ход российской истории. Его не надо вводить, не надо организовывать. Оно всегда было и, думается, всегда будет. Всё дело в том, чтобы его осознать. Вот с этим дело плохо или не так просто. История России полна сверх шекспировских, трагических и драматических эпизодов. Когда неосознание ипостасного начала вело к страшным кризисам, катаклизмам, падениям, смутам. Казалось бы,

безысходным положениям. И всегда находился некий исход из этого кризиса. Этот исход был всегда наготове. Он – в ипостасном начале, которое никогда не уходило, только в какой-то степени осознавалось. И тогда совершалось спасение России. Вот почему нынешнее стремление ввести, внедрить, и даже конституционно внедрить, идеологическую догму, какой бы справедливой она ни была, это очередное отпадение России от самой себя, это помрачение общего ипостасного сознания истории, настоящего и будущего. Я думаю, что это не состоится. Но опасность распада – столь же явное для меня заблуждение и отпадение от ипостасного сознания. Россия в одном из моих стихотворений сказала (там был некий монолог): «Страною ипостасного сознания меня мои потомки назовут».

Мы так боимся распада, что готовы признать над собой любую насильственную, объединяющую догму единства. И вот уже сейчас звучат слова о принудительной братской любви друг к другу, о насильственной организации дружбы народов. В советский период такое было лишь в частных формальных проявлениях. А по сути, и дружба народов, и единство были естественны, потому что были ипостасны. И идеология лишь оформляла это сознание ипостасности. Она признавалось верной, потому, что отвечала природе всероссийского, советского единства. Но так легко было от этого единства отступить в ту или в другую сторону. Репрессии сталинского времени вовсе не были непременны и обязательны для сохранения единства. Они были чрезмерны, искусственны, преступны, но преступление это было во многих случаях неосознанным. Ну вот как Ахматова, уже цитировали её строчки, говорила и сформулировала в стихотворении «Защитникам Сталина» это чувство, эту мысль и это впечатление: «Им бы влить этот же напиток в их невинно клеветящий рот». Рот клеветал. Сколько было мастеров в производстве сирот, как выразилась Ахматова. Но во многих случаях это был невинно клеветящий порядок; невинно, потому что думалось, что иначе невозможно сохранить, упрочить, победно утвердить государственность. А потом, когда она рухнула, ещё полвека была ипостасная инерция советского государства. И тогда осознавалось то, что без этих усилий, без этой невинной клеветы, без застенков, без ГУЛАГов нельзя сохранить Россию. А брежневские этап всегда будут вспоминать, как этап, где насилия были минимальны, власть почти без них обходилась, и страна отдыхала от этого насилия над собой. Шла инерция

ипостасного единства. Инерция потому, что предстояло чудовищное и страшное, самое страшное испытание в после брежневский период истории. И перестройка, и девяностые годы.

И вот сейчас мы готовы совершить новое отступление от правды, теперь уже под знаком реидеологизации, которая невольно приобретёт фашистские формы при всей справедливости тех идеологических догм, которые будут внесены в Конституцию. Фашистская догматика основывалась на явно античеловеческих началах – уничтожение целых народов, порабощение других ради расовой гегемонии. Но даже самая справедливая догматика несправедлива уже тем, что это догматика. Тем, что она подменяет то, что я называю духовной культурой. А духовная культура это осознание ипостасного единства, ипостасной природы единства людей, народов, конфессий.

Когда совершится этот переход к осознанию того, что Россия страна ипостасного сознания, тогда очень многие усилия отпадут. При этом они, конечно, не исчезнут. И государство будет нужно, и его вооруженные силы, и даже идеология. Эти отступления от ипостасной правды неизбежны. Вернее, их можно избежать, но они невольно возникают. Это та самая зыбь развития, о которой сказано в «Фаусте». Развитие ведь могло быть и без этой зыби, без этих драм, падений, тупиков, абсурдов, без всего того, что таит в себе социальность, по Руссо, противостоящая естественному человеку, естественному человечеству. Без всего этого можно было бы обойтись, но история без этого не обходится. Греховность истории любого народа, всего человечества и, конечно, России в том и состоит, что нам кажется – без этих отступлений от явной, осознаваемой нами правды единства, без них мы не сможем ни защитить страну, ни сами спастись и обеспечить переход в будущее. Нам это кажется уже в который раз и будет казаться. И всегда ипостасная правда будет исходом, и всегда она не до конца будет осознаваться. Впрочем, всегда ли? Ещё не было такого этапа, когда она провозглашалась как некое направление, как верование, как научно-обоснованный социальный эксперимент. И даже искусство наше нуждается в ипостасном осознании, ибо кажется, оно само в себе не осознаёт свою ипостасную правду порою. И не только порою. А как правило. Вот если всё это понять, признать, вобрать в себя, если в этом почувствовать естественно обоснованную культуру духа целого народа и, не побоюсь сказать, и всего

человечества, если удастся это не просто в проблесках, не просто в каких-то прорывах, а правдой духовной культуры, осознанной и признанной, то без всякого насильственного внедрения и уж, конечно, без всяких по-новому выстроенных застенков победит ипостасная правда.

Вот ко мне скоро придут молодые писатели, навестить меня. И я предвижу разговор именно об этом. Не знаю, как он получится. Но у меня есть предчувствие, что на этот раз я буду предельно откровенен, прямо оговорив то, что такая откровенность уязвима, что от неё так легко отступить, так легко совершить подмену. Но коль скоро об этом сказано прямо и, может быть, впервые (не очень уверен, надо проверить), но коль скоро, может быть, и в самом деле впервые сказано об этом, то что-то начнётся. По крайней мере, моё самочувствие хочет такого разрешения, такого преодоления и такого лекарства. Такого прозрения в те дни, недели, месяцы, когда исчезает зрение, и когда лишь на ощупь можно скульптору оставаться мастером. Сейчас я переделываю рассказ под названием «Цепь» и попробую туда внести эту тему. Скульптор делает большую статую у себя в мастерской, ему нужно поправить руку, рука немножко не так, для этого необходимо подняться на стремянке, согнуть каркас, который держит эту глиняную руку. И вот скульптор это должен сделать, потеряв зрение внезапно. Вернее, предчувствия такой потери были, но внезапно она, эта потеря, произошла. Кто знает, может быть, и встреча с юными поэтами, писателями вот здесь за круглым столом состоится, и получится мой рассказ. Кажется, между этими возможностями нет ничего общего. А на самом деле я чувствую их сродство. Состоится одно – может быть, произойдет и другое.

### **28 февраля 2020**

Утро. Скульптор подставляет стремянку с тем, чтобы поправить руку большой статуи, стоящей в его мастерской. Руку нужно опустить, она держит книжку. Если оставить её в прежнем положении, будет слишком оптимистично решение вечной проблемы, воплощённой в этом глиняном монументе. Нужно показать обреченность этого рыцаря правды. Он уже прижимал книгу к своей груди правой рукой к сердцу. Он уже прочел то, что было внесено в эту книжку, и вот всё это кончилось. И он видит перед собою пустоту, во времени и пространстве. И то и другое бесконечность. И он,



рыцарь правды, должен как-то сказать об этом, должен присоединиться к тем, кто это говорил. И вот рука его опускается, но книжка по-прежнему раскрыта. Скульптор пытается выпрямить каркас. Каркас гибкий, рука подаётся. Конечно, возникает разрыв, так что он, этот каркас виден, но его легко заполнить свежей глиной. Для этого придётся спуститься, заодно, это самое важное, посмотреть, как же теперь рука соотносится со всем остальным, взять глину и заделать. Опять подняться по стремянке и заделать разрыв этой свежей глиняной массой.

И что? Это и есть вся правда? Эту правду рыцарь, любящий добро, Добролюбов, ещё не сказал миру. И вот в тот момент, когда скульптор вновь поднялся по стремянке, по ступеням стремянки, и разрыв был заполнен, рука оказалась опущенной, он вдруг почувствовал, что теряет зрение и чувствует эту руку только на ощупь, и уже не видит её. Нужно осторожно спуститься и уже не быть в состоянии разглядеть, что получилось. Но скульптор только что разглядывал. Он успел посмотреть. Всё как надо. Но рука будет всё равно вызывать вопросы. Рука и книжка. Она будет единственным, что говорит о рыцаре правды как о любящем добро. Скульптор осторожно спускается. Он достаточно опытен. Он не обманывается. Зрение потеряно. Что-то случилось. Может быть, самое страшное. Но ощущение, то, что на ощупь, живёт в его душе, его сознании, во всём его существе. Вот он ступил, наконец, осторожно на пол, бетонированный пол своей мастерской. И зажмурил глаза, отошел от скульптуры. Вот здесь он уже столько дней, столько утр бегал вокруг всего того, что он создавал в глине, бегал, нагибался, почти ложился на пол, чтобы учесть, увидеть все ракурсы.

Для скульптора самое важное предусмотреть все точки зрения на то, что он создал, а не навязывать какую-то одну или несколько. Все должны раскрывать новые и новые грани смысла в его замысле. Иначе это не скульптура. И вот сейчас он мысленно обходит монумент, спрашивает себя. Неужели всё? Неужели он готов? И неужели он, скульптор, и глиняный рыцарь правды совместились? Они не могли совместиться. Он отошёл от скульптуры, отступил на несколько шагов, поднял голову. Но не разжимает веки. Так он часто делал, с тем чтобы внезапно раскрыть глаза и поймать первое впечатление и оценить то, что сделано, этим первым взглядом. Но сейчас он не спешит открыть глаза. Он знает, что не увидит ничего, нужно вспоминать и воображать. И он знает, что опущенная рука это не то, что

нужно было сотворить. Вот уж воистину глиняный рыцарь правды и его автор ипостасны друг другу. Особенно когда автор замер, и, вместо того, чтобы бегать вокруг скульптуры, двигаться, открывая каждым движением новый ракурс, он стоит неподвижно, как и сам монумент – в полный рост, почти до стеклянного потолка мастерской. Скульптура создает живой образ, потому что зритель тоже должен двигаться вокруг, тоже должен менять положение, и тогда скульптура будет оживать каждый раз новой жизнью. И до тех пор, пока движется зритель, движется и застывший образ. В глине он может ещё измениться. В мраморе его уже изменить нельзя, коль скоро снято из мрамора всё лишнее. В бронзе можно ещё почеканить.

А теперь только в памяти, которая только что родилась. И теперь уже не уйдет. Нет, глаза открывать не стоит. Скульптор вымерил каждый миллиметр своей мастерской. Вот там в углу диван, на котором он спит. Несколько шагов, и он натывается на это ложе своё. Он стоит и боится сесть. Почему-то ему кажется, что если он сядет, то уже не встанет. Конечно, он встанет. Но это нужно осознать и принять. То, что творится на ощупь, столь же объемно, столь же ощутимо, столь же видимо, даже если смотреть на это закрытыми глазами. Но нужно войти в это состояние. Как сделать такое тому, кто всю жизнь видел и творил, проверяя глазом? Поэтому скульптор стоит, не открывает глаза и знает, что он вполне уподобился рыцарю правды и сейчас должен что-то сотворить, что-то совершить, или что-то должно совершиться в этой пустоте. Пространственной, временной, в этой бесконечности пустоты. Он знает, что совершиться нечто должно, чувствует какой-то особый прилив сил. Рука его опущена, он сдерживает движение. Он знает, каким будет оно.

### 29 февраля 2020

Ну что ж, мои размышления об ипостасности привели меня к осознанию, ощущению, предвидению абсолютной свободы. И это ощущение приходит в противоречие с самой идеей ипостасности. Если бы я мог перестроить, пересотворить бытие, я бы снял границы ипостаси, оставив самый принцип ипостасности. Я не знаю, каким образом совершалось бы взросление, возмужание, зрелость, акмэ, старение и финал, когда ты осознаешь, что оставляешь миру многое своё, то, что имеет значение и смысл в условиях и условностях этого оставляемого мною мира. Но ты при

этом чувствуешь, что действуют уже какие-то законы помимо этого мира, и ты уже подчиняешься этим законам. И они есть тоже проявление свободы, дарование таких переживаний свободы, какие бы не были возможны, если бы не было ипостасных границ.

Я всё это представляю себе. И всё же, наверно, переделал бы бытие. Я нашёл бы в себе силы и способность к омоложению, вновь рождению. Причём, такому вновь рождению, которое не прерывало бы мой ипостасный путь, его не нужно было бы начинать сначала, не нужно было бы забывать то, к чему ты пришел. С тем, чтобы вновь, обновлённо, совершенно по-другому открыть для себя это и то, что не было открыто в предшествующей ипостаси. Конечно, можно было бы найти. Я знаю, что можно найти такие силы в душе, в самом естестве человека. Может быть, потому природа или Господь и сотворили мир именно так, что не было уверенности ещё в том, что человек способен открывать в себе такие, обновляющие его бытие силы. И вот он создал ипостасную цепь во времени, намекнув на неё и на её существование, и на её сущность в пространстве. Все пространственное нам дано, насколько мы можем это принять, осознать, открыть, пережить. Временное загадочно в будущем. Зато это временное, пока ипостась жива, не имеет тех граней, которые существуют в пространственном ипостасном бытии. И здесь есть некое преимущество, которое человеческая природа признаёт и с которой готова совладать, обеспечив себе бесконечность вновь рождающегося, но не подверженного перерывам ипостасного бытия. Это так ясно, так просто.

Но Противоречащий готов посмеяться надо мной и над всеми моими размышлениями. Потому что, как он сам только что выразился, это всё иными словами выражение того же, что чувствует и переживает человек, не прибегая к этой идее, к этому предощущению, этому верованию, не прибегая к ипостасности. Но, может быть, то противоречие, которое существует между временным и пространственным, это и есть подсказка человеческому сознанию жизни. Человеку нужно непременно возвращаться к самому себе или к своему ипостасному, вновь рождающемуся началу, нужно переживать зачатие, рождение, взросление, акмэ, угасание. А иначе он всё дальше и дальше уходил бы от своего начала, делал бы открытия, обосновал бы невообразимо сущностные новые миры, вживался бы в них, расширял бы до бесконечности своё ипостасное «я», преодолевшее границы ипостаси, преодолевшее границы своей ипостаси. То самое, которое

продлило бы не мгновение, как хотел Фауст, а свою ипостасную бесконечность.

Она тебе дана, но она прервана границей. Ты хотел бы её продлить. Справился бы ты с этой однонаправленной бесконечностью? Не произошло бы так, что на этом пути в бесконечность ты забыл бы своё начало? Оно уже не вмещалось бы в твою память. А, впрочем, почему? Я не чувствую в себе некий внутренней запрет к тому, чтобы возрождать, вновь рождать свою собственную память и вспоминать даже не то, что я могу вспомнить, а то, что я мог бы запомнить. Я и это умею, я владею и такой силой преодоления. Иными словами, я переделал бы бытие. И я мог бы сказать сейчас Создателю, Творцу, что он не вполне учел эту мою возможность и эту мою ограниченную природой волю, недоучел это, сам обладая такой волей. А если верно то, что Создатель осознает себя в нас, таких, как я, каждом человеке, который решается не просто сознать жизнь, а осознать ее в ее безграничной полноте, что, если он сам себя ограничил тем, что предназначено нам, мне? Что, если он недосотворил и поэтому недоосознал себя самого? И моя мысль о том, что было бы хорошо, если бы только можно было пересоздать бытие, что эта мысль спасительна и для него, равно как и для меня, и для любого, кто мыслит, страдает и готов вновь родиться.

И всё равно надо решать вопрос о том, как быть младенцу, которому не по силам, не по силам соотнести сохранённое от прежних ипостасей сознание и его физическое естество. Мы уже говорили об этом. Здесь противоречие столь мучительно, что его невозможно вообразить. Но и с этим я бы справился. Чтобы справиться с этим, нужно преодолеть нечто в себе, осознавая себя в пространственном ипостасном бытии по отношению к ближним и дальним, по отношению ко всему живому и даже неживому. Но изначально, если представить бесконечность времени, предназначенному к тому, чтобы родить живое. Такого рода мечтания, такого рода молитвенные медитации пока вновь возвращают тебя к твоей природе и к твоей идее пересоздания бытия. Пока неосуществимой, но которую нельзя считать неосуществимой. Сейчас, по возможностям твоим, нельзя воплотить эту идею. Но нельзя и называть её невоплотимой.

У нас уже начинают те, кто будучи в возрасте, размышляют на религиозные темы, вспоминать, что есть такая версия: Бог верит в человека. Представить себе, как проявляется эта вера. Она неотделима от действия,

творчества, она очень близка к тому, о чем мы размышляем. Она требует ипостасного решения. Она не боится ипостасного решения, ибо оно продлит, даже когда ипостась продлена в бесконечность, поможет, наконец, решить всё то, что кажется совсем неразрешимым или разрешаемым природно уже сейчас. Да, вообразить такое решение невозможно, но нельзя считать невозможным такое решение. Видимо, не только для нас, людей, но и для самого Творца. Буйство природы или Бог. Тем более, что в нашем духовном мире никто не опроверг идею, представление о персональном Боге, и о том, который, веря в человека, сам обладает теми человеческими возможностями, в которые он верит, думая о своём создании – человеке. Он обладает этими возможностями, он уже всё решил и перепроверяет своё знание, своё сознание самого себя. Эту версию веры никто не опроверг, и она свободно живёт в духовном мире. И чем глубже погружаешься в неё, тем больше чувствуешь, что ты оправдываешь своё духовное предназначение. Вот такого, ежеутреннего, ежедневного погружения, спасительного предощущения, спасительного предощущения пресуществления, которое сейчас, даже в те горькие минуты, когда ты оставляешь этот мир и оставляешь многое своё этому миру, уходя в другое возможное существование, то самое великое «быть может». Чувствуешь радость, испытываешь ощущения победителя, который воистину преодолел многое в самом себе на этой горькой границе. Даже стоя на самой грани своего ипостасного бытия.